

**ПАНОРАМА
ГУМАНИТАРНЫХ ЗНАНИЙ**

CHALIDZE PUBLICATIONS
505 EIGHTH AVENUE, NEW YORK, N.Y. 10018

КАТАЛОГ

1982

<i>Л. Копелев. На крутых поворотах короткой дороги</i>	7.00
<i>Юз Алешковский. Синенький скромный платочек. Скорбная повесть.</i>	7.00
<i>А. Дюма. Ожерелье королевы.</i>	9.50
<i>Л. Шатуновская. Жизнь в Кремле.</i>	15.00
<i>Н. Хрущев. Воспоминания. Книга 1-я.</i>	12.00
<i>Н. Хрущев. Воспоминания. Книга 2-я.</i>	12.00
<i>В. Буковский. Письма русского путешественника.</i>	12.00
<i>И. Кичанова-Лифшиц. Прости меня за то, что я живу. Воспоминания о Зощенко, Олеше, Лебедеве, Маршаке и др.</i>	10.00
<i>В. Чалидзе. Победитель коммунизма.</i>	7.00
<i>Р. Орлова. Последний год жизни Герцена.</i>	6.00
<i>Ю. Айхенвальд. Дон Кихот на русской почве.</i>	15.00
<i>Н. Валентинов. Встречи с Лениным.</i>	12.00
<i>И. Евреинов. История телесных наказаний в России.</i>	15.00
<i>Ответственность поколения.</i>	8.00
<i>Е. Гнедин. Выход из лабиринта.</i>	8.00
<i>Э. Кольман. Мы не должны были так жить.</i>	18.00
<i>Н. Новиков. Эрнст Неизвестный: искусство и реальность.</i>	10.00
<i>Грузинские блюда.</i>	6.00

ЗАКАЗЫ ТОЛЬКО ПО ПОЧТЕ
Добавьте 50 с за пересылку каждой книги

П А Н О Р А М А С О В Р Е М Е Н Н Ы Х И Д Е Й

ПАНОРАМА ГУМАНИТАРНЫХ ЗНАНИЙ

под редакцией

Дениса Олье

Сокращенный перевод с французского

под редакцией Е. Эткинда

**CHALIDZE PUBLICATIONS
NEW YORK 1982**

**A PANORAMA
OF THE HUMANISTIC SCIENCES**

Edited by Denis Holier

Translation from French edited by Efim Etkind

**Copyright © 1982 for Russian edition
by Chalidze Publications**

Copyright © Éditions Gallimard, 1968

**Published by Chalidze Publications
505 Eighth Avenue,
New York, N.Y. 10018**

Manufactured in the U.S.A.

СОДЕРЖАНИЕ

Часть I. Гуманитарные науки	5
Гуманитарные науки или наука преодоленная	13
I. Введение	13
II. Коперниковская революция (Эпистемология и антропология)	19
1. Наука и человек	19
<i>Александр Куарэ. Коперниковская революция..</i>	<i>20</i>
<i>Жорж Кангилем. Человек (Везалия) в мире (Коперника)</i>	<i>25</i>
2. Эмпиризм	28
<i>Давид Юм. Наука о человеке</i>	<i>29</i>
<i>Даламбер. Программа</i>	<i>33</i>
3. Человек двойственный (гомо дуплекс)	37
<i>Мишель Фуко. Эмпирико-трансцендентное удвоение</i>	<i>38</i>
III. Позитивизм, герменевтика, структурализм	43
1. Позитивизм	43
<i>Карл Линней. Человек, познай самого себя</i>	<i>46</i>
<i>Андре Леруа-Гуран. Зинджантроп</i>	<i>57</i>
2. Герменевтика	60
<i>Вильгельм Дильтей. Герменевтика, искусство понимания</i>	<i>63</i>
<i>Мартин Хайдеггер. Герменевтический круг</i>	<i>67</i>
<i>Поль Рикер. Археология и телеология субъекта</i>	<i>71</i>
3. Структурализм	75
<i>Жак Деррида. Структура и отсутствие центра ...</i>	<i>79</i>
<i>Ролан Барт. Структуралистское действие</i>	<i>84</i>
IV. Наука, искусство, философия	89
<i>Жиль-Гастон Гранже. Количественная иллюзия ..</i>	<i>92</i>
<i>Жак Деррида. Наука и письмо</i>	<i>96</i>
Часть II. Труд	103
Экономическая география и технология	105
I. Человек и земля	105
<i>Эрик Дардель. Язык географии</i>	<i>110</i>
<i>Жан Брюн. Земля, место жизни</i>	<i>113</i>
<i>Анри Элз. Рождение земли</i>	<i>116</i>
<i>Пьер Дефонтэн. Человечество, единственный глобальный вид</i>	<i>118</i>

II. История и география	121
<i>Гегель. Географическая основа</i> <i>всеобщей истории</i>	122
<i>Пьер Гуру. Ключевые позиции</i> <i>и высшие цивилизации</i>	128
<i>Пьер Дефонтэн. География света и ночи</i>	130
<i>Бернар Кайзер. Завоевание природы</i> <i>и классовая борьба</i>	137
<i>Жорж Кювье. Приручение</i> <i>и селекция животных</i>	139
<i>Андре-Ж. Одрикур и Луи Эден. Естественный</i> <i>и искусственный отбор</i>	142
<i>Пьер Гуру. Растительная цивилизация</i>	146
<i>Люсьен Фабр. Взаимодействие человека</i> <i>и среды</i>	150
III. Активная география	155
<i>Пьер Жорж. Социальная география</i>	157
<i>Поль Клаваль. Благоустройство территории</i>	159
<i>Бернар Кайзер. 1) Экономический район</i>	164
2) Лион и Тулуза	168
<i>Пьер Жорж. География смерти</i>	173
<i>Макс. Сорр. География болезней</i>	175
<i>Хосе де Кастро. География голода</i>	179
<i>Ив Лакост. География слаборазвитости</i>	184
IV. Технология	189
<i>Андре Леруа-Гуран. Техническая среда</i>	193
<i>Андре-Ж. Одрикур. Технология</i>	197
<i>Морис Годелье. Против экономики средств</i> <i>существования, об универсальности</i> <i>экономических излишков</i>	202
<i>В. Гордон Чайлд. Медный век</i>	208
<i>Шарль Парэн. Водяная мельница</i>	215
V. Заключение	221
<i>Михаил Розанов. Послесловие переводчика</i>	223

I

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

Перевод Леонида Геллера

”Здесь мы не будем искать определенности, пройдем дальше и оставим во мраке вопрос о первоначальных отношениях обозначающего и действия”.

Жак Лакан

Если не может быть сомнения, что гуманитарные науки не вполне соответствуют совсем еще недавним представлениям о ”науке”, то считать их ”литературой” нельзя, по крайней мере, в том смысле, в каком ”литературность” подразумевается теми, кто отказывает им в ”научности”.

Каждая наука* определяется прежде всего своей собственной проблематикой и спецификой области, которую она изучает. Это, разумеется, не исключает кризисов в науках, не исключает их более или менее глубоких преобразований; но, появившись на свет, неевклидова геометрия остается геометрией; точно так же как химия всегда химия, а физика — физика. Тем самым, конечно, не исключается ни перенос понятий из одной научной дисциплины в другую, ни взаимодействие между науками; но связи такого рода представляют собой события только для ис-

* Здесь и далее термин ”наука” употреблен в соответствии с французской традицией — в смысле ”точные науки”. — *Ред.*

тории науки, они являются проблемами только для эпистемологии.* Для дисциплины, к которой они относятся, они не имеют значимого существования.

В этом-то смысле и можно говорить о неначности гуманитарных наук. Ибо:

— они составляют некий комплекс дисциплин, ни одна из которых не определяется по отношению к самой себе. Их открытость выражает себя самокритикой — критикой желания сохранить "чистоту", обуревающего то одну, то другую из них, критикой искушения успокоиться на скромном исследовании точно определенного объекта. И действительно, изолировать чисто географический, чисто экономический или чисто лингвистический объект невозможно, — так же, как невозможно представить себе чистую географию, экономию, лингвистику. Мир гуманитарных наук это мир постоянных переводов, переносов, метафор; это, выражаясь словами Ж. Деррида, "текст, производящийся исключительно как преобразование другого текста". И вместе, и каждая в отдельности, гуманитарные науки определяются не столько замкнутостью какой-то области, сколько открытостью сети организованных взаимоотношений. Вполне представимо, что Лавуазье мог интересоваться математикой, Дарвин физикой или Карно — биологией. Но эти их занятия являют интерес только в качестве курьеза, это изолированные факты во

* Эпистемология — теория познания. — *Ред.*

всеобщей научной практике. Напротив, если имя Фрейда встречается в главах этой книги, посвященных психологии, психоанализу, семиотике, если имя Леви-Стросса мы найдем в главах об эпистемологии, семиологии, истории и т.д., это не случайность, здесь кроется одна из первых импликаций этой особенности гуманитарных наук;

— не случайно и множественное число термина "гуманитарные науки" — оно обозначает разобщенное единство. Именно поэтому, кстати, с точки зрения эпистемологии, проблематика гуманитарных наук современна направлению мысли, отказывающемуся от идеала единой Науки. Стоит подчеркнуть, что этот отказ не равнозначен скептицизму: он отражает не шаг назад в развитии науки, а ее возвращение к истории. В отличие от единой Науки, гуманитарные дисциплины ставят вопрос о науке, исходя из истории, в тесной связи с историей, их двумя фокусами становятся эпистемология и история науки;

— деятельность этих дисциплин не просто взаимосвязана, а вплетена в идеологическую ткань своей эпохи и своей среды (от которых стремилась как можно скорее уйти наука). И в то время, как этот уход являлся необратимым шагом через эпистемологический порог, по ту сторону которого только и могла сформироваться, определиться наука, гуманитарные дисциплины занимают именно статусом этого перехода, этим самым эпистемологическим порогом, показывая,

что не может быть окончательного, полного, необратимого ухода;

— критика науки не есть просто падение в литературу или возвращение в философию, как следует из сциентистского предубеждения о том, что любая попытка преодолеть математизацию ведет в действительности к регрессу за пределы науки. Хотя и такая точка зрения обоснована, если только удовольствоваться определением литературы по Башеляру как резервуара, из которого черпает и в который проецирует свои фантазмы преднаучная мысль. Но множество трудов, общее направление которых, даже частичное и относительное, позволяет говорить о существовании гуманитарных наук, раскрывает неполноту такого определения литературы, если же, как пишет Ролан Барт,

”нет ничего важнее для общества, чем классификация его языков”,

то функция гуманитарных наук воистину революционна, ибо именно язык — привилегированный объект их теоретической рефлексии, а в то же время — на уровне самой языковой деятельности — они ставят под вопрос и пересматривают статут разных языковых зон и их взаимоотношений. Пересматривают и, прежде чем противопоставлять или разграничивать науку, литературу и философию, наблюдают их совокупно, как значащие действия;

— нет спора, что утверждение социальной революционности явления, обнаруживающегося

только в сфере идеологии, предполагает определенную автономию надстройки, а также сравнительную независимость языка (языков), более того, предполагает наличие у языка некой детерминирующей силы. Не высказываясь окончательно, заметим, что исходная для гуманитарных наук проблематика сосредоточена на определении статуса значения соответственно порядка производящего и порядка символического, действия (акта труда) и обозначающего. Поставим вопрос: как связать в рамках понятия истории фактор экономический, признанный детерминирующей силой, и языки, каждый из которых обладает относительной автономией? Здесь — жизненный узел гуманитарных наук, здесь они наиболее активно разрабатываются, здесь пересматриваются; здесь они предстают перед нами в качестве исторического факта, в большей степени являясь раскрытием и пересмотром традиционных научных дисциплин, чем новыми положительными науками. Это показывает, в частности, трансформация биологических моделей, отталкивающаяся от информатических теорий. Для Жака Моно

”скорее язык — создатель человека, чем человек — языка”,

а для Жака Деррида

”биология и кибернетика причастны к грамматологии, а значит, ’грамма’ или ’графема’ должны функционировать как элементы, предшествующие различению между ’человеческим’ и ’не-человеческим’.” (...);

— но сказав, что язык — привилегированный "объект" гуманитарных наук, мы злоупотребляем языком же: злоупотребление неизбежное, как и то, которое мы совершаем, называя гуманитарными "науками" дисциплины, ставящие под сомнение само понятие науки. Привилегированность языка вытекает из того факта, что сам он не может быть объектом, но помогает разоблачить отношения между субъектом и объектом, изучением которых и жила наука. Объективность, понимаемая как позиция вне объекта и субъекта, уже невозможна; не только языку не дано стать объектом для для какого-либо субъекта, но и субъект приговорен к участи подлежащего при глаголе: попавшему в ловушку языка субъекту отводится положение, подчиненное синтаксису, над которым у него нет никакой власти. Так субъект оказывается не более, чем местом, где проявляются следствия каких-то ускользающих от него закономерностей.

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ ИЛИ НАУКА ПРЕОДОЛЕННАЯ

I. ВВЕДЕНИЕ

В выражении "науки о человеке" под вопрос ставится не человек, а наука.

1. Здесь "человек" нужен для столкновения понятия науки с тем, что для человека наиболее существенно, но дольше всего оставалось отделенным от него: с историей.

Научная деятельность — это исторический процесс, в ходе которого определяются и объекты этой деятельности, и ее нормы, ее статут. (...) Нет сомнения, что появление гуманитарных наук тесно связано с тем, что в начале века казалось кризисом науки вообще, с переворотом, потрясшим и математику, и физические и биологические науки. Потому-то интерес к той или другой — в зависимости от моды — гуманитарной дисциплине в действительности не что иное, как внешнее проявление глубинного страха за науку, страха, питающегося двумя темами:

а) Единой Науки больше нет. Современная эпистемология исходит из констатации множественности научных позиций. Математический архетип потерял значение единственной модели. Синтез науки наподобие ньютоновского не только невозможен сегодня — о нем даже и не пла-

чут. "Наука едина, а вы ее разделили", — жаловался бальзаковский Луи Ламбер. Сегодня Луи Альтуссер констатирует:

"Выражение 'единая наука' — не философская категория и не научное понятие, это понятие идеологическое. Наука с большой буквы — понятие идеологическое. Ее объект реально не существует. Единая Наука не существует".

б) во множественности позиций проступает обозначенный именем человека субъект науки. Упоминанием о человеке выражение "гуманитарные науки" сигнализирует о традиционном противопоставлении, из которого оно само вырастает, — ибо классическая философия только через противопоставление (или через аналогию) божественной науке могла говорить о науке человеческой, гуманитарной.

2. Идеалом Науки (в смысле, соответствующем "идеалу Я" в психоанализе) долгое время была истина, обозначавшаяся именем Бога: наука и истина существовали только в Нем, только благодаря Нему. Таким образом, не случайно (...) распад Науки и ее новая многоголосица симптоматичны для идеологического переворота, одним из важнейших аспектов которого была критика религии.

С этой точки зрения в истории процесса Галилея из-за коллизии религии и науки по конкретному поводу (вертится ли она?) уже проглядывает отход науки от того "Идеала", который ставил ее под опеку религии, пусть даже, как показал

Лакан, отход этот в недолгом времени привел к отказу от истины. XIX век произнес и связал воедино две самые революционные фразы в истории западной цивилизации: Бог умер и истина умерла (Ницше и Гильберт были современниками).

3. Исключение Бога из системы координат науки освободило человека, который старается определить себя с одной стороны как объект науки (человек, противопоставленный природе), с другой же стороны, как субъект науки (человек, заменяющий Бога).

Отсюда колебание, лежащее в основе гуманитарных наук, между теорией субъекта науки и построениями антропологического ее объекта.

Отсюда же определенные трудности дефиниции: если каждая наука функционирует в области, определение которой дает гарантию правильности ее положений, каковы границы гуманитарных наук? Три точки зрения соперничают между собой по этому поводу. 1⁰ Технический прогресс является одновременно утверждением человека и "очеловечиванием" природы; следовательно, объектом гуманитарных наук становится очеловеченная природа, природа, подчиненная человеку. Таким образом, науки о человеке связываются с историческим этапом господства человека над природой (и с препятствиями на этом пути). В отдаленной перспективе они видят растворение природного в человеческом. 2⁰ От идеи научного прогресса отталкивается обратная точка зрения. Клод Бернар говорил, что всякий раз, когда биология пользуется поня-

тием жизни, она признается в собственном невежестве. Так, развиваясь, наука постепенно растворяет человека в природе. Один из примеров: символическая способность (язык), долгое время служившая определением человека, сводится современной биологией к фактам природы. 3⁰ И, наконец, если сосредоточиться не столько на объекте науки, сколько на самом научном факте, последний окажется продуктом человеческой истории; в этом смысле любая наука восходит к науке гуманитарной, то есть к эпистемологии. Борьба этих трех позиций определяет область исследований, которая носит общее название гуманитарных наук.

Область эта, при первом на нее взгляде, поражает царящими в ней путаницей, эклектизмом и беспорядком.

4. В самом деле: исследования, о которых идет речь, абсолютно разнородны; что дает основание объединить такие чуждые друг другу, такие отдаленные друг от друга дисциплины, как география и лингвистика? Или такие взаимоисключающие отрасли, как психология и психоанализ? Но обратное также правомерно: можно подчеркивать их соперничество, точки совпадений, — существует география языков и есть исследования о языке географии; психоанализ психологии также можно себе представить, как психологию психоаналиста. Мишель Фуко пишет, что

”все гуманитарные науки перекрещиваются, истолковываются одна через другую,

границы между ними стираются, наконец, их специфические объекты постепенно расплываются”.

Парадоксально, что именно в этой неопределенности, в этом беспорядке можно видеть отличительную черту гуманитарных наук. Повторяя слова Альтуссера, можно сказать, что само понятие гуманитарных наук — не научное понятие и не философская категория, а понятие идеологическое.

Это не простой недостаток. Ибо важнейшее следствие этого идеологического понятия состоит в раскрытии самого понятия науки. (...) Появление гуманитарных наук дает эпистемологическое обоснование невозможности освободить научную деятельность от идеологического момента, невозможности отгородить какую-либо науку от влияния идеологии; гуманитарные науки вписывают науку в идеологический контекст, вписывают ее в историю.

Такова природа исторического явления, известного под названием ”гуманитарные науки”: это пересмотр идеологического кода западной культуры (религия / философия / наука / искусство), пересмотр, начавшийся с опровержения религии (благодаря каковому и возникло название ”гуманитарные”) и распространившийся на другие элементы системы: в философии, в науке, в искусстве теряются и ясность определений, и строгая неизменность предпосылок.

Расшатывание системы началось в тот момент, когда в ней замечены были пустые места. Если нужно было бы определить, чем является чело-

век для гуманитарных наук, следовало бы говорить о двойном отсутствии, о двойном пустом месте: во-первых, об отсутствии объекта, во-вторых, о субъекте, которого нет. Так и делают многочисленные парадоксы, по мере развития гуманитарных наук объявляющие о приближении конца человека. Гуманитарные науки встречаются не с человеком, а с его отсутствием; отсутствие есть модус, позволяющий человеку быть предметом их внимания. "Человек" обозначает лишь интервал, то, что находится "между": между философией и наукой, между эмпирией и трансцендентальностью и т.п. "Человек" обозначает пропуски, пробелы, запретные зоны западного кода, т.е. то, чем занимается психоанализ.

(...)

В нашей книге дана попытка набросать топографию этого пространства, описывая некоторые из происходящих в нем действий.

II. КОПЕРНИКОВСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ (ЭПИСТЕМОЛОГИЯ И АНТРОПОЛОГИЯ)

1. Наука и человек

Леон Бруншви́г продемонстрировал, как отчетливо на протяжении всей истории западной цивилизации прослеживается колебание науки между математической и биологической моделями. Несовместимость этих моделей (число против жизни, механизм против финализма, количество против качества и т.д.) всегда приводила к конфликтам и потрясениям, характерным, только для истории европейской науки, если верить китаеведу Джозефу Нидхэму, по словам которого

”конфликты были развиты и преувеличены западным человеком без достаточных на то оснований, в силу непреодолимого дуализма, неразрешимого противоречия, лежащего в основе европейской культуры”,

тогда как китайской культуре свойствен, напротив,

”глубокий унитаризм”.

Одним из решающих моментов этого конфликта оказался период между XVI и XVIII веками, когда явное предпочтение было отдано математическому пути, что положило, как показал в

своих трудах Александр Куарэ, начало современной науки.

Много говорилось о более или менее сильной антирелигиозной направленности этого идеологического движения, одним из первых своих актов стершего разницу между Небом и Землей, включив и то, и другое в бесконечность эвклидова пространства, выводя в то же время Бога за пределы окружающего мира и освобождая науку из-под богословской опеки. Но не менее важен и другой его аспект: математический язык, давший современной науке возможность создать самое себя, геометрическое пространство (бесконечное, однородное, лишенное направленности, т.е. освобожденное от установки на какой-либо центр вселенной), в котором современная наука возводит свою космологию, и в результате — затемнение ее, науки, собственного субъекта на всех возможных уровнях: жизненном, психологическом, эпистемологическом.

Древнее противопоставление человек/Бог современная наука заменяет противопоставлением человек/мир или же, точнее говоря, субъект/объект.

КОПЕРНИКОВСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Охарактеризуем эту революцию двумя тесно связанными и взаимодополняющимися чертами. Это:

а. разрушение Космоса и, следовательно, исчезновение из науки — если не всегда реальное, то, во всяком случае, установленное как принцип — всех тех умственных операций, которые на это понятие опираются;

б. геометризация пространства, т.е. замена непрерывного, конкретного и дифференцированного единства "пространств" до-галилеевых физики и астрономии пространством-протяженностью, однородным и абстрактным (хотя и признававшимся в то время реальным) пространством эвклидовой геометрии.

На практике эти преобразования науки равнозначны с математизацией (геометризацией) природы, а значит, и с математизацией (геометризацией) науки.

Исчезновение — или разрушение — Космоса обозначает, что мир, изучаемый наукой, мир действительный, рассматривается или мыслится уже не как конечное и иерархически упорядоченное, т.е. качественно и онтологически дифференцированное единство, а как открытая, неопределенная Вселенная, объединенная не какой-то имманентной структурой, а всего лишь единством ее законов и ее основных элементов; * в противоположность традиционной концепции, разделяющей и противопоставляющей друг другу мир становления и мир бытия, т.е. Землю и Небо, в этой Вселенной все составные части расположены на одном онтологическом уровне: в этой Вселенной *physica coelastis and physica terrestris* (физики небесная и земная) отождествлены и

* Геометризация пространства имплицитно наделяет его качеством бесконечности — мы не можем обозначить пределов эвклидова пространства. Так, разрушение Космоса можно назвать, пользуясь выражением М. Никольсон, "разрывом круга" или же, по моей терминологии, "распадом сферы".

объединены, в ней астрономия и физика становятся взаимозависимыми и взаимосвязанными вследствие общего подчинения геометрии.

Это же, в свою очередь, означает, что из научной мысли исчезают — или энергично изгоняются — всякие рассуждения о ценности, совершенстве, гармонии, смысле и цели, ибо все эти понятия считаются теперь субъективными и не могут найти места в новой онтологии. Иначе говоря, все формальные и финальные причины теряют всякое объяснительное значение для новой науки, которая заменяет их действующими и даже материальными причинами. Лишь последние имеют хождение и признаются в новой Вселенной, в мире воплощенной геометрии, в этом абстрактном, но реальном (архимедовом) мире, где абстрактные тела движутся в абстрактном пространстве, и только в нем действительны и истинны законы бытия и движения новой — классической — науки.

Теперь нам легко понять, почему — как это часто указывалось — классическая наука подменила мир качества миром количества: именно потому, что в мире чисел и геометрических фигур нет качеств — об этом было прекрасно известно уже Аристотелю, — качествам нет места в царстве математической онтологии.

Более того. Теперь легко понять то, что часто ускользало от понимания, — почему классическая наука поставила мир бытия на место мира становления и изменений: именно потому — и об этом тоже говорил Аристотель, — что в числах и

фигурвх нет ни изменений, ни становления (...).*

Ньютон несет ответственность перед нами (вернее, не только Ньютон, а вся современная наука) за разделение надвое всего нашего мира. Я сказал, что современная наука опрокинула перегородки, отделявшие Небо от Земли, что она связала воедино, объединила Вселенную. Это верно. Но я говорил и о том, что она сделала это, подменив наш мир, мир качеств и осязаемых впечатлений, мир, в котором мы живем, любим и умираем, миром иным — миром количества, овеществленной геометрии, в котором находится место для всего на свете, — но нет места для человека. Так мир науки — мир реальный — удалился и совсем отделился от мира жизни, объяснить который наука оказалась бессильной, не найдя для него даже объяснения, способного превратить его в "субъективную" видимость.

В действительности оба эти мира ежедневно все больше и больше связываются практикой. Но для теории они разделены непроходимой пропастью.

Два мира — значит, две истины. Или: что истины вообще нет.

* В своей "Оптике" Ньютон отрицает какое-либо качественное изменение света при прохождении через призму: призма действует всего лишь как решето, разделяя смешанное, сортируя разные лучи, разные компоненты белого светового луча, который уже присутствует в составляющей его смеси. Согласно Ньютону, опыт с призмами, как всякий правильно проведенный опыт, раскрывает нечто уже имеющееся в наличии; он не производит ничего нового.

В этом и заключается трагедия современного разума, который "разрешил загадку Вселенной" лишь для того, чтобы поставить на ее место загадку самого себя.

(*"Смысл и последствия ньютонова синтеза"*
in: Etudes newtoniennes, Gallimard, 1968)

В мире, построенном современной наукой, нет места для человека, как нет его и для жизни, поэтому механистическая идеология делала попытки стереть или разъединить того и другую. Попытки эти кончились неудачей, и любопытно отметить, что именно возрождение нематематической концепции жизни вводит в эпистемологическое пространство западной мысли антропологическую проблематику.

В том же 1543 г., когда вышел в свет "Обращении небесных сфер" Коперника, труд, открывающий эпоху современной науки (пусть сам Коперник и не был коперниканцем, но он проложил путь другим), медик Андреас Везалий опубликовал книгу под названием "Об устройстве человеческого тела" (*De humani corporis fabrica*), в которой Жорж Кангилем ретроспективно видит зачаток того, что станет основным исходным положением будущей биологии и, тем более, всей антропологии: живое существо в своем качестве существа специфического и одновременно в качестве жизненного центра биологической среды не может быть понято иначе, как исходя из самого себя.

ЧЕЛОВЕК (ВЕЗАЛИЯ) В МИРЕ (КОПЕРНИКА)

Отличительную черту духа современной науки ищут, как правило, в отказе от антропологизма в области космологии и биологии. Вспомним, однако, как настойчиво, не только в "Устройстве", но и раньше, в болонской "Первой анатомии", и позже, в "Письме о свойствах отвара из китайской секвинии", Везалий указывал на неадекватность анатомического материала Галиена, препарировавшего собак, свиней или же обезьян вместо человеческих трупов. Не скрывается ли в настойчивости, с какой Везалий требует, чтобы человек изучался на человеке же, кроме того значения, которое признано историей медицины, другой смысл, почему-то весьма часто ускользающий от внимания исследователей? (...)

Когда в "Устройстве" методологическим императивом предстает мысль о том, что человеческую структуру можно наблюдать только на самом человеке, не утверждается ли тем самым биологический факт уникальности, особенности человека? И, следовательно, будет ли преувеличением, если мы скажем, что революция в анатомии это как бы революция космологическая наоборот? В том же 1543 г., когда Коперник обнародовал систему, в которой земля-родина человека перестала быть мерилom и точкой отсчета для всей вселенной, Везалий предложил такое понимание структуры человека, в котором сам человек, и только человек, был собственной точкой

отсчета, мерилом самого себя. Гуманист Коперник прогонял человека с того наблюдательного пункта, откуда должен был обозреваться истинный Космос. Гуманист Везалий превращал человеческое тело в единственное истинное описание "фабрики" человеческого тела. (...)

Сохранила ли биология, в своем развитии до наших дней, верность учению Везалия наподобие того, как астрономия разработала и обогатила учение Коперника? Приходится признать, что большинство аргументов — за отрицательный ответ. Действительно, с начала XVII века самые бесспорные методы и завоевания анатомии и физиологии — дисциплин Везалия — несут на себе печать коперниковского духа в гораздо большей степени, чем влияния самого Везалия. Подражая космологии, которая стала положительной наукой, отказавшись от Космоса, антропология стремилась к "положительности", также отрекаясь от какого-либо антропоморфизма в исследовании человека. Так, организм в целом, и организм человека в частности, с их структурой и всеми их функциями, шаг за шагом описывались и объяснялись как точки конвергенции физических сил, как отложения среды, наконец, как существа, наделенные лишь жизнью, которую им навязывает материальное окружение. Биология создала в связи с этим особый словарь, чтобы говорить о живом, не говоря о жизни, избегая всех других слов, кроме терминологии химии или физики. Короче говоря, органическое единство растворилось в мире, создавшемся после исчезновения центра Космоса, после раскрытия

и разрушения последнего. "Обесчеловечивание", дегуманизация представлений человека о самом себе завершилась, когда Дарвин, сделав человека потомком животных, придал положительный смысл формуле Бюффона:

"Без животных нельзя понять природу человека".

Таким образом, в свете истории можно было бы заключить, что в 1543 г. антропология далеко отставала от космологии, иначе говоря, что в заново построенной вселенной человек Везалия оказался старым человеком. (...)

Отставание это, эта верность Везалия идее органического единства человека как раз в тот момент, когда идея космического единства начинает уходить в прошлое, это кажущееся отставание можно, пожалуй, толковать иначе: нет ли в нем напоминания об исключительности положения человека, живого существа, в котором отношение живого и жизни становится — пусть смутно или неверно — предметом осознания? В этом смысле идея человека, рожденная и развитая Везалием, не только не отстает от своей эпохи, — наоборот, она опережает все эпохи, то есть оказывается основной для человека всех времен.

(*"Человек Везалия
в мире Коперника: 1543 г."*
*in: Etudes d'histoire et de philosophie
des sciences, Vrin, 1968)*

Либо человек, либо наука: для классической науки они исключают друг друга. Наука находит себя в отрицании своего субъекта.

2. Эмпиризм

Между тем, успехи современной науки, и особенно ее ньютоновский апогей, крыли в себе возможность нарушений строгости ее фундаментальной позиции. Действие принципа всеобщего притяжения принялись искать в областях, наиболее отдаленных от тех, для которых Ньютон формулировал этот принцип, в областях, наименее совместимых с его прямым применением.

Эмпиризм XVIII века — не что иное, как идеологическая теория, характерная для такого умонастроения, родившегося как результат победоносного шествия науки, но старавшегося не замечать того исключения человека, которое составляло условие действительности самой науки. Так, Локк ("Ньютон человеческого духа"), а особенно Юм стремились создать точную науку о человеке, о субъекте. Это смещение понятий опиралось на две предпосылки: психологический атомизм и его следствие, ассоциационизм. Этим принципам Жиль Делез дает знаменательное определение:

"Атомизм это теория идей, мыслимых так, что для них внешни отношения, ассоциационизм же — теория отношений, понимаемых как внешние для идей, то есть как зависящие от других причин".

Эта "внешность" по отношению друг к другу причин и следствий, заимствованная из механистических моделей и гарантирующая "научность" эмпиристскому исследованию человеческого разума, любопытным образом повлияла на само понятие науки.

Ибо оказывалось, что самая наука в качестве создания человеческого разума рассматривается как нечто подчиненное предварительной теории этого разума. А значит, в своем стремлении изучать человеческую природу, подчиняясь критериям современной науки, эмпиризм ведет в действительности к подчинению этих критериев предварительному изучению человеческой природы, иными словами, ставит вопрос о ценности и даже о теоретическом статусе науки как таковой.

"Если субъект проявляется только в данном, тогда, действительно, он может быть только субъектом практическим", —

пишет Жиль Делез; и, следовательно, пытаясь создать науку о человеке, Давид Юм не столько желает обеспечить науке теоретическое овладение новым объектом, сколько стремится подчинить науку идеологии утилитаризма.

НАУКА О ЧЕЛОВЕКЕ

Нет сомнения, что все науки в большей или меньшей степени имеют отношение к человеку и его природе; как ни кажется, что какая-нибудь из них совсем удалилась от человека, она

так или иначе к нему возвращается. Даже математика, натуральная философия, натуральная религия в каком-то смысле зависят от науки о ЧЕЛОВЕКЕ; ибо все они входят в круг человеческих знаний и мы судим о них по мере наших сил и способностей. Нельзя даже предсказать, каких изменений и улучшений мы могли бы добиться в этих науках, будь нам хорошо известны пределы и сила человеческого понимания и умей мы объяснить природу идей, которыми пользуемся, и действий, которые совершаем в ходе нашего мышления. Улучшений же должно особенно желать в натуральной религии, которая учит нас не только о природе высших сил, но направляет свой взор дальше, на их отношение к нам и на наши обязанности перед ними; мы — не только существа мыслящие, но также один из объектов, о которых сами и мыслим.

Если математические науки, натуральная философия и натуральная религия так зависят от знания о человеке, чего же ожидать в других науках, где связь с природой человека еще теснее и ближе! Единственная цель логики — объяснение принципов и действий нашей способности мыслить и природы наших идей; этика и критика изучают наши вкусы и наши чувства; политика же исследует, как люди собираются в группы и как зависят друг от друга. В этих четырех науках — Логике, Этике, Критике и Политике — заключено почти все, что таким или иным образом нам нужно знать, или же все, что может быть направлено либо на усовершенствование, либо на украшение человеческого разума.

Итак, вот единственный способ, с помощью которого мы можем надеяться успешно вести наши философские изыскания: нужно оставить кропотливый метод выжидания, применявшийся нами до сих пор, и вместо того, чтобы захватывать то здесь, то там какой-нибудь замок или пограничную деревню, — пойти штурмом на столицу, центр этих наук, — на самое человеческую природу; овладев ею, мы можем надеяться с легкостью одержать победу в любом другом месте. Отсюда мы сможем расширить наши завоевания на все науки, более непосредственно занятые человеческой жизнью, а затем сможем развивать в свое удовольствие дисциплины, составляющие объект чистой любознательности. Нет такого важного вопроса, решение которого не заключалось бы в науке о человеке; и нет вопроса, который можно решить с какой-либо дозой уверенности до тех пор, пока мы не знаем этой науки. Таким образом, когда мы говорим, что объясняем принципы человеческой природы, в действительности мы предлагаем цельную систему наук, построенную на почти совершенно новой базе, единственной, на которой они могут прочно покоиться.

И как наука о человеке есть единственная твердая основа для других наук, точно также сама эта наука о человеке должна найти для себя единственную твердую основу в опыте и наблюдении. И уже не удивительным нам кажется утверждение, что применение экспериментальной философии к вопросам нравственности должно пройти после ее применения к вопросам есте-

ствознания, спустя приблизительно одно столетие; ибо мы обнаруживаем, что точно такой же промежуток времени разделял начала этих наук; от Фалеса до Сократа мы насчитываем почти столько же времени, сколько между лордом Бэконом и некоторыми новыми философами в Англии,* которые начали ставить науку о человеке на новый фундамент, привлекли к себе внимание и пробудили интерес публики. Воистину, если другие нации могут соперничать с нами в поэзии и превосходят нас в некоторых других изящных искусствах, то прогресс разума и философии может быть делом только страны терпимости и свободы.

(*"Трактат о человеческой натуре.
Опыт приложения экспериментального метода
к нравственным вопросам.
Введение."* 1739)

Теория человеческой природы претендует развернуться в "центральную систему наук" и попыткой реализации этого проекта можно считать "Энциклопедию" Дидро и Даламбера. Заимствуя у Бэкона главные категории, Даламбер предлагает в своем "Вводном слове" классификацию человеческих знаний (наук человека в субъективном смысле, т.е. наук, которыми располагает человек); он разделяет их на три группы в зависимости от умственной способности,

* М-р Локк, лорд Шефтсбери, д-р Мэндсвилл, м-р Хатчeson, д-р Батлер и др.

благодаря которой они развиваются: памяти (для истории), разума (для философии или науки), воображения (для поэзии).

Но вскоре в этой классификации происходит любопытное превращение: наука человека, только что считавшаяся субъективной как некое общее пространство для совокупности человеческих знаний, начинает пониматься в объективном смысле как наука, которая занимается человеком, — всего лишь один сектор знаний, занимающий место между наукой о Боге и наукой о Природе. И Даламбер набрасывает программу для такой науки о человеке.

ПРОГРАММА

Наука о человеке. Деление Науки о человеке нам дано в разделении его способностей. Главные способности человека суть *разумение и воля*; *разумение*, которое надлежит направить к истине; *воля*, которую следует подчинить добродетели. Первая является целью *логики*, вторая — целью *этики*.

Логику можно расчленить на *искусство мыслить*, *искусство запоминать мысли* и *искусство их сообщать*.

Искусство мыслить имеет столько же дисциплин, сколько имеется главных операций в акте разумения. Но мы различаем в разумении четыре основных действия: *восприятие*, *суждение*, *умозаключение* и *метод*. Можно отнести к восприятию *учение об идеях или впечатлениях*; к суждению — *учение о положениях и теоремах*;

к умозаключению и методу — *учение об индукции и доказательстве.*

Доказательство, однако, может избрать два пути: либо восходить от доказуемого предмета к первопричинам, либо от первопричин нисходить к требующему доказательства предмету. Отсюда происходят *анализ и синтез.*

Искусство запоминать разделяется на *Науку о самой памяти и Науку о дополнениях памяти.* Память, представавшая вначале перед нами как сугубо пассивная способность, здесь же рассматриваемая как активная сила, которую разум способен совершенствовать, может быть *естественная* либо *искусственная.* *Естественная* память есть свойство органов; *искусственная* же слагается из *первоначального представления и символа* — из первоначального представления, без которого в уме не возникает ничего конкретного, и из символа, посредством которого на помощь памяти призывается *воображение.*

Искусственные воспроизведения суть *дополнения памяти.* Письмо есть одно из них; но мы можем пользоваться либо *обиходными письменами*, либо *письменами специальными.* Первые зовутся *алфавитом*, вторые — *цифрами*: так происходят *искусства чтения, писания, слагания цифр*, а также *Наука орфографии.*

Искусство сообщать мысли состоит из *Науки об орудиях речи и Науки о качествах речи.* Наука об орудиях речи называется *грамматикой.* Наука о качествах речи — *риторикой.*

Грамматика разделена на *науку о знаках, о произношении, о построении и о синтаксисе.*

Знаки суть произносимые звуки; произношение или просодия занимается искусством их произносить; синтаксис учит, как прилагать знаки к разным понятиям разума; построение указывает их правильный порядок в речи, основанный на общепринятом употреблении и на размышлении. Но существуют и другие знаки мысли, кроме произносимых звуков: таковыми считаем *жесты и письма*. Письмена могут быть либо *идеальными*, либо *иероглифическими*, либо *геральдическими*. Идеальные письма, как у индейцев, обозначают каждую идею отдельным письменным знаком, так что нужно множить письмен столько же, сколько есть реальных сущностей. Иероглифическое письмо принадлежит детству человечества. Геральдическое же письмо составляет то, что мы называем *Наукой о гербах*.

К искусству сообщения мыслей следует отнести также *критику, педагогику и филологию*. Критика восстанавливает испорченные места у разных авторов, дает издания текстов и т.п. Педагогика определяет выбор занятий и способы обучения. Филология исследует всемирную литературу.

К искусству украшать речь принадлежит *стихосложение* или механизм поэзии. Мы опустим деление разных дисциплин риторики, ибо из них не вытекают ни отдельные искусства, ни науки, если только не назвать *пантомиму* искусством жеста, *декламацию* же искусством жеста и голоса.

Этика, выделенная нами в виде другой части *Науки о человеке*, может быть либо общей, ли-

бо специальной. Последняя разделяется на естественную юриспруденцию, экономику и политику. Естественная юриспруденция является наукой об обязанностях одного человека, экономика — наукой об обязанностях человека в семье, политика — об обязанностях человека в обществе. Но этика была бы неполной, если упомянутые науки не предварялись бы исследованием *реальности нравственного добра и зла*, необходимости выполнять свои обязанности, быть добрым, справедливым, добродетельным и т.д. Таков предмет общей этики.

Если принять во внимание, что общества должны быть добродетельными ничуть не менее частных особ, образуются учения об обязанностях общества, которые можно назвать *естественной юриспруденцией общества, экономикой общества*, внутренней, внешней, сухопутной и морской *коммерцией*, наконец, *политикой общества*.

(“Вводное слово к Энциклопедии”, 1759;
“Подробное объяснение
системы человеческих знаний”)

Между этими двумя текстами — Юма и Даламбера — и открывается пространство, в котором смогут появиться гуманитарные науки. Вопреки своему замыслу, Юм не занимает строго научной позиции; его мышление остается философским или же, с другой точки зрения, антифилософским. И, наоборот, программа, начертанная Даламбером, перечисляет и распределяет опреде-

ленное количество положительных знаний, не обозначая пространства, в котором они могли бы соединиться и дать начало подобию гуманитарных наук.

3. Человек двойственный (Homo duplex)

Так говорит Мишель Фуко, определяя человека (или то, что под именем человека вторгается в конце классической эпохи в область эпистемологии) "двойственностью его положения в качестве объекта познания и познающего объекта".

Бюффон определял человека присущей ему двойственностью. Но трещина, образующая homo duplex проходит не между внутренним и внешним; она протекает в самом внутреннем мире между той его частью, которая подчинена животному началу, и той, где действует принцип "духовности". Так вырисовываются две области, в скором времени получившие название эмпирической и трансцендентной.

Для гуманитарных наук станет характерным превращение каждой из этих областей в дуплет второй. Они произведут, как пишет Мишель Фуко, "эмпирико-трансцендентное" удвоение, т.е. станут обосновывать "фундаментальное" с помощью того, что положительно и конечно. (...)

ЭМПИРИКО—ТРАНСЦЕНДЕНТНОЕ УДВОЕНИЕ

Если в этом мире человек действительно представляет собой точку эмпирико-трансцендентного удвоения, если ему действительно выпало быть этой парадоксальной фигурой, где эмпирические содержания знаний сами из себя выводят условия, делающие возможным их собственное появление, то нет сомнения, что человек не может быть данностью в непосредственной и самовластной очевидности размышления о самом себе, в очевидности “*cogito*”; но он не может пребывать и в объективной инерции того, что в принципе не может и никогда не сможет получить самосознание. Человек — это особая модальность бытия; в нем обретает существование некое всегда открытое, не имеющее точных пределов измерение, простирающееся от той части человека, которая не мыслит себя в самопознающем процессе “*cogito*”, до акта мысли, позволяющего уловить ее самое, — и в другом направлении, от такого чистого познания до эмпирического груза, до беспорядочного нагромождения содержаний и опыта, ускользающего от себя самого, до безмолвного горизонта того, что раскрывается в песчаной протяженности не-мышления. Будучи “эмпирико-трансцендентным дуэтом”, человек проявляется в незнании, в том, что его мысль всегда опережает самое себя, одновременно позволяя помнить о себе в том, что от него ускользает. (...)

Вопрос уже не в том, каким образом природный опыт ведет к необходимым суждениям. Теперь вопрос ставится иначе: каким образом человек мыслит то, чего не мыслит, как он бессловесным обитателем присутствует за пределами собственного мышления, как подобием замершего движения оживляет тот образ его самого, который упрямо стоит перед ним в облике внешней реальности? Как человек может быть той жизнью, которая в своих разветвлениях, пульсациях, скрытой силе неизмеримо превышает данный ему непосредственно опыт? Как человек может быть субъектом языка, который сформировался тысячелетия тому назад без него, система которого ему непонятна, смысл которого спит почти непобедимым сном в словах, на мгновение зажигаемых его речью, — языка, в который человек с самого начала должен волей-неволей укладывать и речь, и мысль, будто у них нет другого назначения, кроме как на время оживлять какой-то кусочек этой ткани неисчислимых возможностей? Кантовский вопрос здесь смещен четырежды, ибо дело идет уже не об истине, а о бытии; не о природе, а о человеке; не о возможности знания, а об изначальном незнании; не о необоснованности философских теорий перед лицом науки, а об охвате ясным философским сознанием всей области необоснованного опыта, в которой человек не может распознать самого себя.

Так смещая трансцендентный вопрос, современная мысль не могла избежать возрождения темы “cogito“. (...) Но современное “cogito“

настолько же отличается от декартовского, насколько наша трансцендентная рефлексия отдалена от кантовского анализа. (...) В современном “cogito” речь идет (...) о том, чтобы как можно более полно измерить расстояние, в одно и то же время разделяющее и объединяющее самосознающую мысль с тем, что в мысли уходит к не-мыслящему; в процессе “cogito” современный человек (и для него это значит не столько открытие последнего доказательства, сколько постоянный, все время заново предпринимаемый труд) должен нащупывать, испытывать, раскрывать связи мысли с тем, что в ней, вокруг нее, под ней не освещается мыслью, но все-таки не становится для мысли совершенно чуждым и непреодолимо внешним. В такой форме “cogito” — это не озаряющее явление истины о том, что всякая мысль мыслит себя, но постоянные поиски ответа на вопрос, каким образом мысль обитает во внешнем — и так недалеко от себя самой, как получается, что мысль имеет бытие в разновидностях немыслящего. Бытие вещей приводится к мысли, но бытие мысли проникает к самому инертному хребту того, что мысли лишено.

(Слова и вещи,
II, гл. IX, V, coll. “Bibliothèque
des sciences humaines”,
Gallimard, 1966)

В этом-то смысле нужно видеть в человеке не столько новый объект для науки (впрочем, здесь следовало бы уточнить, что значит “но-

вый”), сколько явление, в котором наука ставится под сомнение в ее качестве проекта *mathesis universalis*, в котором противопоставление внутреннего и внешнего, — а на нем наука обосновывала свой идеал объективности — теряет свою действенность, не соответствуя более с нужной строгостью противопоставлению двух картезианских субстанций. Ибо бытие человека — не вещь и не сознание, а форма бытия мысли, которая не постигается в актах рефлексии, но и не становится доступной и внешней положительной предметностью. И под сомнение ставится, как говорилось, ”имплицитная экстерриториальность субъекта знания”, бывшая постулатом современной науки с момента коперниковской революции.

III. ПОЗИТИВИЗМ, ГЕРМЕНЕВТИКА, СТРУКТУРАЛИЗМ

Потрясение, о котором идет речь, начинается, однако, отражаться в научной практике только столетие спустя после появления первых его симптомов. За это время позитивизм и герменевтика пытались заговорить опасность, причем позитивизм стремился спасти для науки ее объективный характер, герменевтика же, не щадя обходных маневров, спасала единство и самосознание субъекта — постулаты философской позиции в науке.

1. Позитивизм

Позитивизм в антропологии можно определить двумя основными чертами: внешне антирелигиозной — в действительности скорее антихристианской — позицией и возвращением биологической проблематики и биологических моделей, обозначающим разрыв с механизмом галилеокартезианской науки. Эти особенности соприкасаются между собой, перекрываются: антихристианская позиция обнаруживается в естествознании тогда, когда человеку оно отводит место в ряду естественных существ, а с другой стороны, биологическая проблематика, снижая значе-

ние души-руководительницы и Бога-создателя открывает путь самым разным антирелигиозным толкованиям. Дело в том, чтобы на место сверхъестественного (божественного) закона поставить закон естественный.

Материализм XVIII века дает иллюстрацию такому подходу, отказываясь различать неодушевленные и одушевленные тела (первые получают движение, вторые его производят): материя определяется движением, действием, — так возникает переход от неорганического к органическому и в мире остается место только для естественных существ, в том числе и человека. Как писал, например, Гольбах:

”человек (...) живет в природе и составляет часть ее”;

”до сих пор весьма злоупотребляли различием между человеком физическим и человеком духовным. Человек же есть существо чисто физическое”.

Замена сверхъестественного генезиса естественной генеалогией составляет один из первых актов позитивистской антропологии, если, конечно, верно то, что говорит Жиль-Гастон Гранже о

”первом акте рациональной мысли, делающей человека своим объектом, — своего рода *десакрализации*, направленной на то, чтобы лишить человека и его действия того священного ореола, которым они окружены в коллективном сознании, и, следовательно, рассматривать человека как часть природы”.

Итак, первым делом нужно "натурализовать" человека, поместить его бок о бок с бестией, а не рядом с ангелом, описывать его по образу и подобию обезьяны, а не Бога.

Однако, такая генеалогия и рассмотрение человека в ряду других видов превращают позитивизм в своеобразное повторение подхода, который опишет и определит Огюст Конт, — тотемизма. Для нас безразлично, является ли тотемизм реальностью в архаических обществах, или же это проекция на них западных представлений, — для него характерны, как напомнил Леви-Стросс, отказ от

"фундаментального для христианской мысли положения о пропасти, разделяющей человека и природу",

и

"особая роль понятия вида, понимаемого как логический оператор".

Именно поэтому позитивизм — повторение и сублимация тотемизма — может считаться скорее антихристианским, чем антирелигиозным (он не противоречит антропологической концепции религии). Одно из первых проявлений позитивизма мы находим в "Системе природы" Карла Линнея, шведского естествоиспытателя, который включил человеческий вид в один ряд с другими естественными существами и нашел ему место в зависимости от его специфических свойств. Замечательно притом, что главное специфическое свойство человека не что иное, как возможность осознавать специфические особенности, т.е. воз-

возможность вырабатывать понятие вида, что возможно лишь потому, что человек осознает себя как вид. Позитивизм, занимаясь классификацией, определяет человека именно его способностью классифицировать. И Линней поступил вполне логично, ставя на первое место в своей классификации человека, ибо отличая его по признаку самосознания, определяя его дельфическим императивом "познай самого себя" (*nosce te ipsum*), он видит в человеке момент возникновения понятия вида.

ЧЕЛОВЕК ПОЗНАЙ САМОГО СЕБЯ HOMO NOSCE TE IPSUM

РАЗРЯД I

П р и м а т ы

Четыре резцовых зуба
в верхней челюсти, параллельных
Две грудных молочных железы

В И Д 1

ЧЕЛОВЕК. HOMO SAPIENS.

Ведет дневную жизнь; разнится образованием, а также вследствие влияния климата.

Человек *дикий* нем, косматоволос; ходит на четвереньках.

Таков был юноша-медведь из Литвы, найденный в 1661 г.

Юноша-волк из Геффе в 1544 г.

Юноша-баран из Ирландии.

Юноша-вол из Бамберга.

Гановерский юноша в 1724 г.

Дети, найденные в Пиренеях в 1719 г.

Девочка из Овериффеля, найденная в 1717 г.

Девочка, обнаруженная в Шампани в 1731 г.

Жан Льежский из Бургаве.

а. *Американец. Americanus.*

Темнокож, подвержен гневу; держится прямо.

Волосы черные, прямые, грубые; *ноздри* широкие; *подбородок* почти безбород.

Он упрям, горд, свободолюбив.

Раскрашивает себя красными чертами, искуско переплетенными.

Управляется своими обычаями.

б. *Европеец. Europoeus.*

Он бел, полнокровен, мускулист.

Волосы светлые, длинные и густые; *глаза* голубые.

Он непостоянен, хитроумен, находчив.

Носит прилегающую одежду.

Управляется законами.

в. *Азиат. Asiaticus.*

Желтоват, меланхоличен, телом плотен.

Волосы темные, *глаза* карие.

Суров, склонен к роскоши, скуп.

Носит просторные одежды.

Управляется мнением.

г. *Африканец. Afer.*

Чернокож, флегматичен, рыхлотел.

Волосы очень черные, курчавые; *кожа* мягкая; *нос* плоский; *губы* толстые, *груды* длинные у кормящих женщин.

Он хитер, ленив, небрежен.

Натирает тело маслом или жиром.

Управляется произволом своих властителей.

е. Человек, изуродованный жесткостью климата (А) или же искусственным путем (В, С).

Homo monstrosus.

а) Жители *высокогорных мест*; низкорослы, ловки, робки.

Патагонцы: высоки ростом, ленивы.

б) *Люди* с одним яичком, менее плодовиты: Готтентоты.

Люди без бороды: несколько народов в Америке.

в) *Макрокефалы* с конической головой: китайцы.

Плагиокефалы с головой, сплюснутой спереди: канадцы.

Человек плодояден в тропиках; в других местах, где растения менее питательны, он плотояден.

ОПИСАНИЕ ЧЕЛОВЕКА

Тело прямое, нагое, рожденное без оружия и защитных органов, покрыто редкими волосами; ростом около шести стоп.

Голова формы приближенной к овалу, тупая наверху, покрытая длинными волосами; передняя часть также тупая, затылок или задняя часть выпуклая.

Лицо голое; лоб почти плоский, квадратный, сжатый у висков, с двух сторон поднимающийся в виде углов к волосам.

Брови несколько выдающиеся, образованные короткими волосами, растущими в сторону висков, имеющие форму шва и разделенные плоским безволосым местом. Верхнее веко подвижное, нижнее неподвижно, оба поросшие рядом выступающих и загнутых ресниц.

Глаза круглые, прикрепленные без помощи мышцы; круглый зрачок без моргающей перепонки; щеки выпуклые мягкие, румяные. Челюсти несколько сплюснутые. Низ щек более мягкий. Нос выдающийся, более короткий, чем губы, на конце несколько приподнятый и более выпуклый; ноздри овальные, волосатые внутри, с утолщением на краях.

Верхняя губа почти перпендикулярная, с бороздкой посередине; нижняя губа почти прямая, более выпуклая.

Подбородок выдающийся, тупой, выпуклый.

Рот, окруженный волосами у мужского пола, длинными, растущими пучками, главным образом на подбородке.

Зубы, растущие прямо из челюсти; резцы прямые параллельные, тесно поставленные, более ровные, плоские и закругленные, чем у других животных; *глазные зубы*, растущие по одному, длиннее резцов, но короче клыков у других животных, с двух сторон приближенные к другим зубам; пять *коренных зубов* на каждой стороне челюстей, несколько тупые, менее глубоко посаженные, чем у других животных.

Уши по бокам головы, закругленные, напоминающие полумесяц, прижатые к голове, безволосые, верхний край загнут, выпуклые, мягкие в нижней части.

Корпус состоит из шеи, груди, спины, живота.

Шея почти круглая, более короткая, чем голова; ее *позвонки* не соединены никакой связкой; тыльная часть шеи вогнутая; *горло* вогнутое в верхней части, выпуклое посередине.

Грудь довольно плоская; в верхней части почти совсем плоская; *гортань* запавшая; *подмышки* запавшие, поросшие волосами; углубление живота плоское.

Две грудных молочных *железы* по обеим сторонам груди, выпуклые, закругленные, с цилиндрическим *соском*, тупым, сморщенным, окруженным околососковым *кружком*.

Нижняя часть *спины* почти плоская; плечи развитые, между плечами плоское место.

Живот выпуклый, мягкий, с глубоким пупком, надчревная область плоская, подчревная — выпуклая, пах плоско-вогнутый. Лобок поросший волосами. Таз расширенный в верхней части, суженный в нижней. Выступающие половые части: цилиндрический пенис, снабженный скротумом или округлой мошонкой, с мягкой, сморщенной кожей, с продольным швом, уходящим в промежность (у мужского пола); выпуклая, немного сжатая вульва, снабженная плевой, клитором и срамными губами (у женского пола), подверженная периодическим кровотечениям у взрослых особей.

Члены тела состоят из *рук* вместо передних ног и *задних ног*.

Руки длинные, довольно толстые, круглые, длиной не меньше ног. Локоть тупой и немного выдающийся. Предплечье такое же толстое, как и плечо, круглое, более плоское с внутренней стороны. Ладони закругленные, расширенные, плоские, выпуклые с наружной стороны, вогнутые внутри; пять пальцев, большой палец отделен от остальных, короче и толще других пальцев: 2-й, 3-й, 4-й и 5-й пальцы сближены, 5-й меньше остальных, 2-й и 4-й почти равны, но 3-й немного длиннее и достигает середины ляжки. Все ногти округлые, почти овальные, плоско-выпуклые, с бледной лункой.

Ляжки ног близко посажены, мускулистые, ягодицы выпуклые, мясистые, колени направлены вовнутрь, очень тупой формы, подколенные ямки углубленные.

Ноги той же длины, что ляжки, выпукло-мускулистые сзади, сужающиеся книзу, худые спереди. *Пяточные кости* опирающиеся на продолговатые пятки, более широкие, чем у других животных, непосредственно соединенные со ступней ноги, толстые, немного выдающиеся, выпуклые, с лодыжками полукруглыми твердыми. *Ступни* ног продолговатые, несколько выпуклые спереди, плоские сзади, вогнутые поперек ступни. Пять пальцев; все согнуты, тесно сжаты, сверху выпуклые; первый палец более толстый и короткий, 2-й и 3-й почти одинаковы, 4-й и 5-й уменьшаются, последний — самый маленький. Ногти как на пальцах рук.

ЧЕЛОВЕК отличается таким образом от других животных с грудными железами своим телом прямым и нагим, но с головой, поросшей волосами, и с бровями и ресницами, а также с волосами на лобке у взрослых особей, подмышками и на подбородке у мужского пола; своими двумя грудными молочными железами; своим мозгом, несравненно большим, чем у других; язычком в горле; органами речи; лицом, параллельным низу корпуса и безволосым; выдающимся подбородком; отсутствием хвоста; ногами, опирающимися на пятки; девственной плевой и менструацией у женского пола.

*(Система природы Карла Линнея,
класс 1-й животного царства)*

Такой подход к человеку не содержит сам по себе ничего принципиально антирелигиозного: это показывает, например, ответ Фейербаха тем, для кого религия коренится в

”фундаментальном различии между человеком и животных: у животных нет религии”.

Фундаментальное различие — религия — связано с особым качеством человека, с его ”видовым сознанием”.

”Животное является само для себя объектом, но только как индивид — потому оно обладает самоощущением, — а не как вид — поэтому у него нет сознания, само название которого происходит от слова ”знание”.

(...Подлинная религия — религия человека, а не Бога: мироощущение Фейербаха можно тем более назвать религиозным, что оно антихристианское по своей сути.)

”Только существо, для которого объектом является его собственный вид, его специфика, может делать объектами, соотносясь с их натурой, другие вещи или существа”, —

с этим утверждением Фейербаха, дающим дефиницию человека, до сих пор перекликаются тезисы естествоиспытателей, которые, как Лоренц, показывают, что в то время, как животное воспринимает человека, ”анализируя” его, видя в нем животное, единственное животное, способное, по словам Ж. Кангилема,

”воспринимать человека как человека, что составляет необходимое условие для объяснения его природы, — есть человек”.

Наука (о человеке) становится таким образом специфической особенностью человека.

Эта отличительная особенность, однако, носит совсем иной характер, чем специфические черты, определяющие для других видов их места в системе классификации (ибо что общего между ”Познай самого себя” человека и формой ногтей обезьяны?), поэтому позитивистский монизм не мог ею удовлетвориться. К тому же обращение к самосознанию, самовосприятию, не что иное, как последствие теологического или метафизического веков, последствие, подлежащее устранению, ибо, как говорит Огюст Конт в 40-й лекции своего ”Курса позитивной философии”,

”истинный дух всякой философии, теологической или метафизической, в том, что она объясняет внешние явления, принципиально исходя из того, как мы ощущаем глубоко человеческие явления: позитивная же философия, наоборот, всегда и не менее глубоко отличалась необходимым и рациональным подчинением концепции человека пониманию внешнего мира”.

Строго говоря, такое подчинение закрывает путь обособлению науки о человеке как таковой (она может быть только одним из разделов науки вообще, т.е. науки о природе). Таким и должен быть, по Леви-Строссу, окончательный резуль-

тат успехов этнологии, неизбежно приближающих момент

”исчезновения традиционного и противоречивого разграничения между науками о человеке и науками о природе, ибо всякая наука занимается природой. Разделение это опирается не на автономность этих областей, а на нашу временную неспособность научного подхода к фактам, принадлежащим к первой области. Если мы научимся вполне научно обрабатывать эти факты, они перестанут отличаться от всех других”.

Столетием раньше то же говорил о ”науках о жизни” Клод Бернар.

Разрыв между человеком и природой, ставший главным препятствием на ее пути, позитивистская антропология воздвигла перед собой сама, в пылу полемики заостряя свою антихристианскую направленность. Она замыслила ”вывести” человека из обезьяны, пользуясь как промежуточным звеном человеком-обезьяной — антропомитеком. Но по мере того, как полемические импликации этого промежуточного звена теряют свою актуальность, приходится под напором фактов от него отказаться, констатируя, что предок человека — по выражению Леруа-Гурана —

”похож больше на лишенного человечности человека, чем на очеловечившуюся обезьяну”.

Эта линия родства нам видна лучше сегодня, благодаря труду доктора Луиса С.Б. Лики, руководившего раскопками в восточной Африке и

открывшего нашего настоящего предка, зинджантропа, который дал ученому возможность воссоздать генеалогическое дерево человека, правда, с большими пробелами информации о плиоцене, периоде в 10 миллионов лет. От линии, начинающейся насекомоядными (еж, крот и т.п.) и оканчивающейся современным *Homo sapiens*, отходят боковые ветви, часть которых просуществовала до наших дней (лемуры, обезьяны и др.), другие же оказались тупиком (кенияпитеки, ореопитеки). Проплиопитеки начинают эволюцию к высшим приматам. У егоптомитека появляются первые гуманоидные черты (зубы и п. пр.). Австралопитеки первыми принимают вертикальное положение.

Леруа-Гурану это развитие кажется "эволюцией к человеку". И действительно,

"эволюционисты единодушно считают течение, несущее человека, стержневым течением эволюции. Лишайник, медуза, устрица или слоновая черепаха так же, как и гигантские динозавры, всего лишь брызги от главной струи, бьющей в нашем направлении".

Но ось этой эволюции к человеку, по-видимому, проходит не столько путем развития мозга, как думали долгое время, сколько путем развития "локомоторной приспособляемости", развития подвижности, которое можно определить с анатомической точки зрения как все меньшую специализацию органов:

”За все время эволюции, начиная с рептилий, человек наследует тем созданиям, которые избежали анатомической специализации. Ни зубы его, ни руки, ни ступня, ни мозг не достигли такого уровня совершенства, как зуб мамонта, конечности лошади, мозг некоторых птиц, — но он сохранил способность к почти всем возможным действиям”.

Такие факты, такая техника, язык и т.п. для Андре Леруа-Гурана — не более, чем следствие или даже импликация анатомических свойств, достаточных для того, чтобы дать положительное определение человека.

ЗИНДЖАНТРОП

1. Может быть, важнейшим событием для науки об ископаемом человеке было открытие, сделанное Луисом Б.С. Лики 17 июля 1959 г. в Олдовейском ущелье в Танганике (Танзании): он обнаружил австралопитекоподобное существо человеческих размеров, *Zinjanthropus boisei*, около которого были найдены очень примитивные, но не вызывающие сомнения орудия. Это открытие произошло через несколько лет после того, как был открыт бассейн австралопитеков в Южной Африке. Уже два года как было известно, что австралопитек держался вертикально, и некоторые исследователи полагают более чем правдоподобным наличие у него орудий. Открытие Лики обозначает, по крайней мере в научных кругах, конец мифа о человекообезьяне.

Приходится считаться со всеми научными последствиями непредвиденного существования уже в конце третичного периода человека в телесной форме, но далеко еще не развитого психически.

Зинджантроп (и другие австралопитекоподобные) выделяет орудия, что в зоологическом ряду ставит впервые вопрос о действенности специфических признаков, перенесенных из иной, чем биологическая анатомия, области. Появление среди специфических признаков орудия и обозначает границу очеловечения и начало долгого переходного периода, за время которого зоология уступает место социологии. В той точке эволюции, в которой находится зинджантроп, орудие появляется как прямой результат анатомического развития, как единственный выход для существа, ставшего совершенно безоружным, когда его руки и зубы потеряли значение защитных органов, но обладающего мозгом, организованным для выполнения сложных ручных манипуляций.

Реймонд А. Дарт, открывший в 1925 г. первого австралопитека в Южной Африке и затем многократно находивший этих древнейших известных человекоподобных, изучая обнаруженные рядом с ними остатки животных, пришел к выводу, что австралопитеки занимались охотой, чего отнюдь не делают обезьяны. Как кажется, на юге африканского континента дичью для них были средние и мелкие антилопы, довольно часто дикие свиньи и бабуины, иногда даже такие крупные животные, как зебры, носороги, гиппопотамы, и такие опасные, как пантеры. Прежде

чем обнаружить на месте раскопок каменные орудия, Дарт думал, что австралопитеки пользовались орудиями костяными, в частности, плечевыми костями антилоп, заменявшими им дубинки; он составил коллекцию "остеодонтокератической индустрии", отобрав остатки наиболее характерных, по его мнению, костей. Большая часть этой коллекции, как кажется, случайна, но никак нельзя исключить использования австралопитеками больших костей в виде дубинок, а рогов — в виде палиц и рогатин.

Ископаемые остатки зинджантропа в олдовейском ущелье лежали в окружении обработанных камней, принадлежащих к индустрии, известной с давних пор в Африке под названием "галечной". Образцы ее находят по всей Африке с севера на юг; они относятся к самым отдаленным эпохам четвертичного и перехода к третичному периоду, и уже несколько лет назад исследователи предполагали ее создателями австралантропов. (...)

II. Изучение первых человекоподобных может повлечь за собой полный пересмотр наших концепций о человеке. В первой главе этой книги показывалось, что образ предка — это образ искусственный, рожденный в XVII веке, в атмосфере идеологической борьбы и в отрыве от какого-либо палеонтологического базиса. В XIX и первой половине XX века этот образ все еще проецировался на ископаемые находки, в которых постоянно искали контраст между обезьяной и человеком разумным (питекантро-

пом и Homo sapiens). Впрочем, тот же подход отличал и рационалистов, и верующих, но он по сути своей чужд "человеческому" решению проблемы человека, ибо заключается в том, чтобы установить в цепочке существ, имеющих все меньше и меньше черт животных, некую "границу человечности", "мозговой Рубикон", — это "поиски Адама". Но дело совсем в другом: вместо над-животного, которое очеловечилось бы, неизвестно каким путем достигнув "мыслящего минимума", мы находим в австралантропе человечность уже реализованную, но в трудно узнаваемой форме и, вероятно, гораздо ниже того "мыслящего минимума", который следовало бы придать обезьяне для того, чтобы признать ее предком человека.

*(Жест и слово, т. 1.
Техника и язык, гл. III)*

2. Герменевтика

Хорошо известно, какой суровой критике Гуссерль подверг описанную нами выше позитивистскую антропологию, в которой он разоблачает стыдливо-риторические фигуры естествоведческого объективизма. Стремясь объяснить дух и создания духа, опираясь на законы природы, позитивизм забывает, что законы эти — продукты научных умозаключений и как таковые являются (так же, как природа, описанная этими законами) созданиями духа. Гуссерль пишет:

”Взвесив все за и против, я пришел к заключению, что никогда не существовала и никогда не будет существовать объективная наука о духе, что объективное учение о психике невозможно, ибо объективность отказывает в существовании психике, подчиняя ее формам пространства и времени”.

Более того, не только объективная наука о духе невозможна, но и сама объективность науки о природе как создания духа подчиняется науке более высокого уровня, единственной истинной науке, ибо единственной по-настоящему автономной (все другие зависят от нее): науке о духе. Но видеть в науках о духе ”соперника” науки о природе, значит забыть о том, что такое наука. Только наука о духе

”полностью автономна: она принимает форму связного самопознания и понимания мира как создания духа. Дух этот — не дух в природе и не дух рядом с природой: сама природа входит в сферу духа”.

Нет сомнения, что эти положения Гуссерля, сочетаясь с его отказом от эмпиризма и с идеей о том, что дух научен лишь поскольку он прерывает все связи с конечным миром, в котором протекает его жизнь, — эти положения открыто противоречат взглядам Дильтея, ибо для последнего создания духа только лишь ”концепции мира” и, по его словам,

”их происхождение мы открываем в жизни, в жизненном опыте, во всей совокупно-

сти проявлений личности. (...) Метафизическую систему можно понять, только если встать в самом ее центре, центр же этот — не что иное, как совокупность действий и реакций, выражением которых и является эта философская система”.

Если по Дильтею мысль нужно вписать в историю, если понять ее можно только в контексте эпохи, для Гуссерля, наоборот — как заметил Жак Деррида, — раскрытие духа в бесконечность путем идеализации ускользает от эмпирической истории, образуя в то же время ”чистую историю”.

Теория истолкования, которую в начале века разработал Вильгельм Дильтей, примыкает к герменевтике, ибо видит себя методом, позволяющим уловить личный характер жизненного опыта субъекта в его внешних проявлениях. В этом смысле истолкование противопоставляет себя объяснению, которое в области материальных, лишенных внутреннего содержания фактов описывает управляющие ими причинно-следственные отношения. Но истолкование противопоставляет себя и чистой рефлексии самосознания, сапознающему процессу без посредничества каких-либо ”осязаемых знаков”: только выражающий себя дух может быть истолкован и понят.

ГЕРМЕНЕВТИКА, ИСКУССТВО ПОНИМАНИЯ

Мы называем *пониманием* процесс познавания "внутреннего содержания" с помощью внешних знаков, воспринимаемых нашими чувствами. (...)

Процесс понимания охватывает и лепет младенца, и размышления Гамлета или *Критику чистого разума*. Камень, мрамор, музыка, жесты, слово и письмо, действия, экономические законы и конституции, — все это проявления человеческого разума, который обращается к нам и требует понимания; и процесс понимания, определяемый общими условиями и источниками такого рода интеллектуальных операций, должен во всех случаях являть общие черты: по природе своей он единообразен. Если я хочу понять, например, Леонардо да Винчи, я должен истолковывать действия, картины, рисунки и сочинения, и должен пользоваться при этом единым и синтетическим методом.

Понимание имеет разные степени — в первую очередь зависящие от степени интереса. Если интерес ограничен, понимание также ограничено. С каким нетерпением приходится нам выслушивать иногда чьи-то разъяснения! Мы останавливаем наше внимание только на том, что имеет для нас практическое значение и не питаем никакого интереса к внутренней жизни говорящего. В других случаях, наоборот, мы ловим малейшее изменение лица, малейшее слово, позволя-

ющее проникнуть внутрь. Но самое пристальное внимание может стать регулярным действием и обеспечить контролируемый уровень объективности только в том случае, если жизненный факт зафиксирован, и мы имеем возможность к нему в любой момент возвратиться. Мы назовем *экзегезой* или *истолкованием* учение о *понимании зафиксированных внешних жизненных проявлений*.

В этом смысле можно говорить о существовании и такой герменевтики, предмет которой составляют скульптуры или картины; уже Фр. Авг. Вельф призывал к разработке археологических герменевтики и критики. Велькер отозвался на этот призыв, Преллер же пытался реализовать его на практике, подчеркивая в то же время, что такого рода толкование лишенных голоса произведений обречено опираться на литературные объяснения.

Для нашего проникновения в духовную жизнь и в историю литература имеет огромное значение, ибо только в языке личные переживания человека находят полное, исчерпывающее и объективно постигаемое выражение. Поэтому-то искусство понимания развивается по преимуществу вокруг толкования *письменных памятников человеческого духа*.

Экзегеза этих памятников и неизбежно сопровождающий ее критический анализ стали со временем отправной точкой для филологии. Филология — прежде всего индивидуальное умение, особое мастерство, требуемое при изучении письменных памятников, и вне филологии и ее

результатов невозможно никакое успешное толкование памятников другого рода или действий, которые передала нам история. Мы можем ошибаться относительно побуждений того или другого исторического лица; люди, действующие на наших глазах, могут сознательно ввести нас в заблуждение. Но творение великого писателя, великого изобретателя, религиозного гения или истинного философа не может быть ничем иным, как только подлинным выражением его внутренней жизни; в нашем переполненном ложью обществе такого рода творение всегда правдиво и, в отличие от других зафиксированных свидетельств, может быть объектом полного и объективного толкования; более того, именно такие творения и проливают свет на другие художественные памятники эпохи и на исторические действия современников.

Искусство толкования развивалось столь же постепенно, медленно, шаг за шагом, как, например, искусство экспериментального исследования природы. Искусство толкования было рождено личной виртуозностью ученого-филолога, — и на этой виртуозности оно держится. И, согласно своей природе, оно передается посредством личного контакта с виртуозами экзегезы или их трудами. Но у каждого искусства есть свои *правила*. Они учат преодолевать определенные трудности. В них хранится опыт индивидуального мастерства. И искусство толкования довольно быстро оказалось в состоянии сформулировать свои правила. Герменевтика родилась из конфликта между этими правилами, из антагонизма,

с одной стороны, разных способов толкования важнейших произведений, и, с другой стороны, необходимости создать четкие правила такого толкования. Герменевтика есть *искусство толкования памятников письменности*.

С помощью анализа процесса понимания герменевтика утверждает возможность универсально действенного толкования и, в конечном итоге, стремится решить *общую проблему*, с которой мы начали наши размышления; к анализу внутреннего опыта присоединяется анализ понимания, — и совместно они доказывают, что науки о духе *способны* дать знание, в *определенных границах* обладающее универсальным значением (постольку, поскольку науки эти определяются той формой, в какой мы первоначально наблюдаем психические факты).

(*"Истоки и развитие герменевтики"*,
1900)

Основу этого метода хорошо резюмировал Лео Шпицер:

"Мы предполагаем, что автор есть как бы солнечная система, на орбитах которой вращаются самые разные вещи: язык, мотивировки, фабула, — все это не более, чем сателлиты некой мифологической сущности (как выразились бы мои антипсихологические противники): *mens [auctoris]*".

"Мы предполагаем": в этой гипотетической установке главное затруднение герменевтиче-

ского метода. Мы видим автора как некий центр, но кто определяет его перед началом анализа, если не тот, кто занимается его описанием? Объект анализа как бы задается заранее, а не раскрывается в ходе критического исследования. Не ищешь того, что не было бы тобой уже найдено... Этот "герменевтический круг" может, однако, обратиться не недостатком анализа пережитого, а наоборот, гарантией строгости, пусть и не математического типа, но не вызывающей сомнений и подходящей именно для фактов из области антропологии. Это предвосхищение — пружина герменевтического метода — составляет в то же время характерный элемент структуры самых антропологических фактов. И "кругообразность" в таком случае не недостаток метода, а особенность объекта. Как пишет Мартин Хайдеггер, "структура предвосхищения", присущая "экспликации", сама является

"выражением экзистенциальной структуры предвосхищения самого бытия-здесь".

Предвосхищение есть как бы предварительное понимание (или просто понимание), от которого сможет оттолкнуться и развернуться по-настоящему познающая экспликация (а не экспликация).

ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКИЙ КРУГ

Всякое понимание мира предполагает понимание бытия, и наоборот. Кроме того, всякая экспликация движется внутри описанной нами

структуры предвосхищения. Всякая эксплици-
ция же, направленная на достижение нового пони-
мания, должна заранее понять, что подлежит экс-
плицитации. Факт этот был замечен давно, прав-
да, в той области, где и понимание, и эксплици-
тация выступают как явления вторичные: в об-
ласти филологической интерпретации. Последняя
представляет собой определенный тип научного
знания, т.е. знания, которое стремится к строго-
му обоснованию того, что оно показывает. Науч-
ное доказательство не может предполагать того,
что следует доказать. Но если эксплициация вра-
щается всегда внутри того, что уже понято, ес-
ли именно этим она и питается, то каким обра-
зом она смогла бы прийти к научным результа-
там, не вращаясь по кругу, тем более, что пред-
полагаемое понимание касается самого обиход-
ного знания мира и людей? Однако, элементар-
нейшие правила логики учат нас, что круг — по-
рочен. Отсюда вытекает, что проблемы истори-
ческой эксплициции априорно исключаются
из области строгого знания. Если процесс пони-
мания не будет освобожден от этого порока, ис-
тория окажется познаваемой лишь в ограничен-
ной степени, историческое знание будет далеко
от строгости. Обычно делаются попытки несколь-
ко смягчить порок, ссылаясь на "духовное до-
стоинство" объектов этой научной дисциплины.
Тем не менее, историки придерживаются мнения,
что было бы гораздо лучше, если можно было
бы избежать круга и если была бы надежда ког-
да-нибудь написать историю настолько же сво-
бодную от точки зрения историка, насколько

знание природы якобы свободно от точки зрения естествоиспытателя.

Между тем, признание порочности круга, попытки избежать его или примирение с ним как с неизбежным злом обозначают фундаментальное непонимание процесса понимания. Дело совсем не в том, чтобы моделировать понимание и эксплицитацию по определенному образцу идеального знания вообще, ибо такой образец и сам не более, чем дериват понимания, возникший в результате вполне оправданного стремления постичь то, что остается в сфере непостижимого. Мы никогда не сможем удовлетворить фундаментальным условиям какой-либо эксплицитации, если будем игнорировать основные предпосылки, без которых просто невозможно приступить к эффективной эксплицитации вообще. Главная задача состоит не в том, чтобы выйти из круга, а в том, чтобы правильно войти в него. Круг, присущий пониманию, не есть роковой круг, замыкающий в себе всякую форму знания; он есть выражение экзистенциальной *структуры предвосхищения* самого "бытия-здесь". Нельзя обесценивать этот круг, называя его порочным, даже если мы примиряемся с пороком. В круге скрывается подлинная возможность самого истинного знания, возможность, правильно воспользоваться которой дано, однако, лишь в том случае, если эксплицитация постоянно и всегда будет, во-первых, избегать того, чтобы ее предварительные знания и предвосхищения навязывались ей обиходными интуициями и предубеждениями, и, во-вторых, следовать своей научной теме, раз-

вивая свои предвосхищения согласно "реальности самих вещей". А поскольку понимание в экзистенциальном смысле не что иное, как знание бытия, данное самому "бытию-здесь", постольку онтологические предпосылки любого исторического знания принципиально выходят за рамки идеи научной строгости, свойственной точным наукам. Математика не более точна, чем история, она просто уже ее, учитывая область экзистенциальных основ, которых она касается.

"Круг", характеризующий понимание, принадлежит к самой структуре смысла, и это явление коренится в экзистенциальном строении "бытия-здесь", в экспликации-понимании. Субъект бытия в качестве бытия-в-мире ищет смысл своего существования: такова его онтологическая кругообразная структура.

*("Бытие и время". Раздел 1,
глава V, параграф 32)*

Однако, как замечает Поль Рикер, существование в гораздо большей степени проходит под знаком вопроса "кто я?", чем утверждения "cogito" "я существую". Предвосхищение сопряжено с риском, будь то в плане экзистенциальном или же в рамках герменевтического метода. Множественности измерений бытия отвечает *двойственность* смысла знаков бытия. Иными словами, "кратчайший путь интуиции о себе для себя закрыт", "открыт только долгий путь толкования знаков"; поэтому, если герменев-

тическое *cogito* есть, по выражению П. Рикера, “*cogito*“, опосредствованное миром знаков”, то этот долгий путь толкования связан с риском и в том смысле, что

”общей герменевтики не существует, не существует общей теории толкования, общего канона эксегезы, — существуют лишь взаимно противопоставленные герменевтические теории”.

В частности, двойственность смысла связывает сознание с тем, что было прежде, и с тем, что будет, с началом и с концом: для психоанализа правда сознания скрывается далеко за ним в подсознании архаическом или детском, всплывающем на поверхность в фактах сознания; для феноменологии (в гегелевском смысле) эта правда находится в конце, в том будущем, к которому устремлено сознание и связь с которым носит характер платонической реминисценции. Так вырисовываются две герменевтики, сталкивающиеся между собой в том, что Поль Рикер называет “конфликтом толкований”.

АРХЕОЛОГИЯ И ТЕЛЕОЛОГИЯ СУБЪЕКТА

Все, что можно сказать после Фрейда о сознании, заключено, как кажется, в следующей формуле:

”Сознание не дано непосредственно, оно опосредствовано; оно не есть источник, но

цель, состоящая в том, чтобы осознавать все больше и больше”.

Формула эта становится понятней, если противопоставить функцию сознания той тенденции к повторению и регрессии, которая содержится во фрейдовском толковании иллюзии. Особенно в последних работах Фрейда упор сделан на тему возвращения вытесненного и бесконечного воспроизведения архаического убийства отца: истолкование религии все чаще дает повод подчеркнуть регрессивную тенденцию в истории человечества.

В таком контексте проблема сознания связывается, на мой взгляд, с вопросом: как человек выходит из детского возраста? Как он становится взрослым? На первый взгляд, этот вопрос кажется чисто психологическим: он составляет тему всякой генетической психологии, всякой теории личности. Но в действительности, вопрос этот наполняется особым смыслом, как только мы начинаем интересоваться, какие символические представления, какие образы направляют рост личности, ее созревание. Такой косвенный подход к проблеме скрывает, как мне кажется, больше неожиданного, чем чистая психология роста: сам рост личности предстает перед нами в зоне перечисления двух систем толкования.

Здесь дает о себе знать необходимость иной герменевтики, в которой смысловой центр сдвигался бы иначе, чем в психоанализе. Не в самом сознании лежит ключ к пониманию; нам нужно открыть новые представления, новые символы, не сводимые к либидо: именно они тянут созна-

ние вперед, вырывают его из детства. После Фрейда единственная возможная философия сознания должна приближаться к гегелевской феноменологии духа. В этой феноменологии непосредственное сознание не осознает самого себя. Возвращаясь к сказанному выше, можно утверждать, что человек взрослеет, становится "сознательным" тогда, когда он становится способен принять эти новые представления, последовательность которых и образует "дух" в гегелевском смысле слова. Экзегеза сознания в таком случае была бы перечислением и определением тех сфер смысла, которые сознание должно встретить и вобрать в себя для того, чтобы получить возможность мыслить Себя как человеческое, взрослое, этическое "Я". Этот процесс уже совсем не является интроспекцией, непосредственным осознанием; это совсем не символический акт нарциссизма, ибо фокус Себя сосредоточен не на психологическом эго, а на духе, т.е. на диалектике самих символических актов. "Сознание" оказывается лишь интериоризацией движения, составляющего часть объективной структуры учреждений, памятников, произведений культуры и искусства.

Остановимся здесь и взглянем на результаты наших рассуждений. Мы пришли к предварительному выводу о том, что содержание сознания раскрывается никак не через психологию сознания, а обходным путем, в действии нескольких метапсихологий, которые смещают фокус понимания либо в сторону подсознания фрейдовской метапсихологии, либо в сторону духа метапсихологии гегелевской.

На этой полярности "метапсихологий" основаны два рода герменевтики, описанные нами в первой части. Противопоставление подсознания и духа выражается в самой двойственности толкований. Две науки толкования представляют собой два противоположно направленных вектора: аналитическое и регрессивное движение к подсознанию, синтетическое и прогрессивное движение к духу. С одной стороны, в гегелевской феноменологии каждый символический акт получает значение в свете символического акта, следующего за ним; стоицизм есть правда взаимного признания хозяина и раба, но скептицизм есть правда стоической позиции, аннулирующей всю разницу между хозяином и рабом, и так далее: правда одного момента кроется в следующем моменте; осмысливание идет от конца к началу. Поэтому мы и можем сказать, что сознание есть цель: оно достигается лишь в конце. С другой же стороны, подсознание говорит нам о том, что осмысливание исходит из предшествующих символических представлений; человек это единственное существо, так долго остающееся в плену у собственного детства; человек это существо, которого его собственное детство влечет назад; подсознание есть начало всех регрессий и всех стагнаций. В самом общем смысле можно сказать, что дух — это порядок конечного, подсознание же — порядок исконого. Поэтому тот же набор символов может дать основание для двух толкований; одно строится на представлениях, всегда выплывающих "сзади", другое — на представлениях, всегда прихо-

дящих "спереди". В тех же символах заложены эти два измерения, те же символы поддаются двум противоположным толкованиям.

(*"Герменевтика символов
и философская рефлексия", II,
in: Le conflit des interpretations,
Paris, 1969)*)

Не ищешь того, что не было бы найдено? Риск в толковании? Все это значит, что герменевтика, восходя к Паскалю (а не только к шлейермахеровскому возрождению его идей), продолжает быть антропологией, корни которой вырастают из христианской проблематики. Если позитивизм можно было свести к лозунгу:

"неважно, что станет с человеком, лишь бы спасти науку",

герменевтика, напротив, есть попытка спасти человека от науки (и даже — вопреки науке). Между духом геометрии и духом утонченности она выбирает последнее ("филологический такт" Дильтея).

3. Структурализм

Итак, герменевтика следует завету "Познай самого себя", из которого исходил уже позитивизм. С той только разницей, что последний на определенном уровне видел в этом девизе базу для развития науки, тогда как герменевтика

ищет с его помощью то, что характеризует личность, и — если верить упреку, который Мишель Тор адресовал П. Рикеру, — идет к "психологизации познания": она теряет научность, получая в награду лишь видимость субъекта. Структурализм ставит перед собой задачу найти взаимозависимости между теорией субъекта и теорией науки.

Субъект, якобы открытый герменевтикой в хитросплетениях двойственных смыслов, не более, чем иллюзия, сама же герменевтика —

"воображаемая спелеология, занятая исследованием пропасти собственного незнания субъекта".

Когда П. Рикер дополняет психоанализ археологией субъекта там, где у Фрейда якобы остался пропуск, он поступает вопреки Фрейду, у которого здесь нет никакого пропуска, наоборот, — для этого места показано наличие пробела. Заполнять этот пробел, затыкать дыру, значит действовать прямо противоположно фрейдовскому учению; проблематика субъекта формулируется в нем так, что археология субъекта как таковая полностью лишается смысла:

"Археологии субъекта нет, —
пишет М. Тор, —

как раз потому, что психоанализ изменяет положение субъекта. Знаменитое коперниковское смещение центра субъекта, совершенное Фрейдом, состоит не в том, чтобы воспроизвести его на другом уровне,

вывести его, наподобие новой трансцендентной бабочки, созревшей для знания, из куколки "субъекта" подсознания, а в том, чтобы устранить сам центр в его качестве организатора, полюса, ядра, глубины источника".

Позитивизм игнорировал субъекта, вытеснял его; герменевтика стремится превратить его в антропологический центр, но не знает его. Структурализм одновременно и признает субъективность, и развенчивает ее, стогняет ее с царского престола, который она захватила под именем "человека": если в структурализме имплицитно содержится субъективность, то она играет роль, по выражению Ж.-А. Миллера, "не правителя, а подданного". Фрейд говорил, что "Я" — не хозяин даже у себя дома. Субъективность уже не отождествляется с рефлексией. "Познай самого себя" уже не более, чем благое пожелание; субъект не знает себя, он "воображает" себя. Для знания *о субъекте* нет места в *субъекте*. Но это не значит, что без субъекта можно обойтись. Попытавшись это сделать, лингвистический структурализм в том виде, в каком его представили Соссюр и его самые ортодоксальные последователи, не смог до конца развить свои идеи, не преодолел позитивистского исключения субъекта: как замечает Ж.-А. Миллер,

"он размечает поле своего исследования посредством предварительного исключения каких-либо отношений, связывающих речь с субъектом". (...)

Герменевтика Рикера — это как бы коперниковская революция, законченная Коперником, после которого не последовали бы Кеплер, Галилей, Ньютон, революция, перенесшая центр мира с Земли на Солнце и на этом остановившаяся. Нет сомнения, что краткий путь “*cogito*” закрыт: непосредственное познание самого себя невозможно. Но посредничество знаков должно дать возможность найти “по ту сторону” знаков новый центр или основу, тем более прочную, что она удалена от нас: архе или телос.

Структурализм, напротив, направляет свои усилия в сторону такой мысли, которая освободилась бы от установки на центр, каким бы и где бы он ни был. В этом неоспоримая новизна подхода структурализма к понятию структуры. Испокон веков наука и философия говорили о структуре; но в этом традиционном смысле структура подчинялась некоему управляющему центру; вокруг него шла игра элементов структуры, но сам он в ней не участвовал.

В последнее время понятие структуры стало предметом изучения, и выяснилось, что необходимость центра, находящегося вне игры, была вызвана характерной для субъекта функцией незнания субъекта, причем все то, что представлялось подлинным центром, оказалось не более, чем его условными заменителями. Структурализм как направление мысли стремится к достижению абсолютного отсутствия центра: настоящего центра для него нет никогда. Точно также, впрочем, нет такого слова, в котором содержалось бы происхождение его смысла: смысл слов

не в них, а между ними, и язык — всего лишь система различий, отсылаемых всеми элементами друг другу, — и нет возможности остановиться на одном из них. Слово-ключ (первое или последнее) не существует, так же, как и центр (архе или телос). Таким образом, как показывает Жак Деррида, структурализм определяется не столько понятием структуры, сколько особым использованием этого понятия.

СТРУКТУРА И ОТСУТСТВИЕ ЦЕНТРА

”Более надлежит толковать толкования, чем толковать сами вещи”.

Монтень

(...) Легко показать, что понятие структуры и даже слово ”структура” так же стары, как сам предмет эпистемологии — *эпистемируемое*, — т.е. одновременно и западная наука, и философия; можно показать, что корни и понятия, и слова уходят в почву обиходного языка, почву, из которой *эпистемируемое* их извлекает, производя как бы операцию метафорического переноса. Тем не менее, вплоть до события, которое я намереваюсь здесь нащупать, структура или, точнее, структуральность структуры, всегда существовавшая в науке, была нейтрализована, редуцирована из-за того, что ей давали центр, связывали ее с какой-то постоянной точкой, возводили к

одному источнику. Функция центра состояла не столько в том, чтобы давать ориентировку, уравновешивать, организовать структуры — ибо нельзя представить себе неорганизованную структуру, — сколько в том, чтобы организующее начало структуры ограничивало то, что можно назвать свободным движением или *игрой* структуры. Центр структуры, ориентируя систему и обеспечивая ее связность, несомненно допускает игру элементов внутри нее. И сегодня еще вообще лишенная центра структура представляется немислимой.

Но центр останавливает игру, благодаря ему и возможную. Как центр он составляет точку, в которой не может быть подстановки содержаний, элементов, членов. В центре трансформация или перестановка членов (которые, впрочем, могут быть структурами, включенными в структуру) запрещена. Во всяком случае, до сих пор всегда была запрещена (я намеренно употребляю это слово). Всегда считалось, что центр, бывший по определению единственным, являл собой в структуре то, что организовало ее, но само не подчинялось ее структурности. Поэтому, согласно классическому представлению о структуре, центр мог быть, парадоксальным образом, и в структуре, и *вне* ее. Он — в центре целого, но поскольку центр этому целому не принадлежит, постольку оно *находит свой центр в другом месте*. Центр в то же время и не центр. (...)

Если это действительно так, то вся история понятия структуры до переворота — события, о ко-

тором мы говорим, — представляется серией перестановок от центра к центру, цепью все новых определений центра, последовательно и регулярно получавшего разные формы или названия. В таком случае историю метафизики, как и историю западной цивилизации, можно мыслить как историю этих метафор и этих метонимий: их матрицей — да простится мне то, что не даю здесь долгих доказательств, но я спешу добраться до моей главной темы — всегда было определение бытия как *присутствия* во всех смыслах этого слова. Можно показать, что все названия основы, начала, центра всегда обозначали инвариант присутствия: *эйдос, архе, телос, энергея, оусия* (сущность, существование, субстанция, субъект), *алетейя*, трансцендентность, сознание, Бог, человек и т.д.

Событие, о котором я упоминал в начале, переворот, разрыв с традицией происходит, по видимому, в момент, когда структурность структуры становится предметом рефлексии, т.е. когда она повторяется, — поэтому я говорил, что разрыв этот был в то же время и повторением, во всех смыслах слова. (...) Тогда-то, вероятно, возникает мысль о том, что центра нет, что центр нельзя мыслить в форме сущего-присутствующего, что центр не имеет естественного местонахождения, и вообще он не есть постоянное место, а есть функция, не-место, где идет бесконечная игра подстановки знаков. Тогда-то язык вторгается в область универсальной проблематики. Тогда-то, в отсутствие центра или источника, все становится речью — нужно, правда, условить-

ся, что мы называем речью, — т.е. системой, в которой центральное — истонное или трансцендентное — обозначение никогда в абсолютном смысле не присутствует вне системы. Отсутствие трансцендентного обозначаемого расширяет до бесконечности поле и игру значений.

(*"Структура, знак и игра
в языке гуманитарных наук",
in: L'écriture et la différence,
coll. "Tell Quel", Paris, 1967*)

Герменевтика связывала рефлексивную способность субъекта с опытом центра. Об этом свидетельствует вопрос, с которым П. Рикер обратился к Леви-Строссу по поводу мифов:

"Если понимание мифов не дает мне лучшего понимания самого себя, могу ли я еще говорить о смысле? Если смысл — не один из сегментов самопознания, тогда я не знаю, что это такое".

Смысл понимается как одна из модальностей (если не единственная модальность) самопознания — направленного только на себя или же отраженного извне для субъекта. И критика субъекта, которую проделывает структурализм, включает в себя критику смысла:

"За каждым смыслом скрывается бессмыслица", —

отвечает Леви-Стросс. Нужно освободить обозна-

чающее, заменить традиционную логику обозначаемого логикой обозначающего, раскрыть игру этих элементов, в которых нет смысла, но без которых смысл не мог бы существовать. Для структурализма важна буква (обозначающее), которой он подчиняет дух (обозначаемое). Если смысл — то, что понимается (и то, посредством чего мы понимаем), можно сказать, вслед за Франсуа Валем, что

”структурализм ничего не толкует, ничего не ’понимает’; он ничего не понимает, но все трансформирует”.

Трансформация — такова основная операция структуралистского действия, как его понимает Ролан Барт, который пишет:

”Структурализм это прежде всего действие, т.е. упорядоченная последовательность определенного количества умственных операций”.

Цель операций:

”Построение модели объекта, но модели, подчиняющейся какой-то установке, каким-то интересам, ибо в имитирующем объекте проявляется то, что было скрыто, или, точнее нераспознаваемо в объекте естественном”.

Таких операций две: расчленение и упорядочение.

СТРУКТУРАЛИСТСКОЕ ДЕЙСТВИЕ

Структуралистское действие состоит из двух типовых операций: расчленения и упорядочения. Расчленить первичный объект, данный нам для моделирования, значит: найти в нем такие подвижные элементы, чтобы их дифференциальное положение, положение по отношению друг к другу, передавало определенный смысл; элемент лишен смысла сам по себе, но малейшее изменение в его расположении ведет за собой изменение целого; квадрат Мондриана, серия Пуссера, стих "Мобиль" у Бютора, "мифема" у Леви-Стросса, фонема у филологов, "тема" у какого-нибудь литературного критика, — все эти единицы (независимо от того, какова их внутренняя структура и объем, зачастую весьма разные) имеют значимое существование лишь благодаря своим границам — границам, отделяющим их от других актуальных единиц речевого единства (но здесь уже начинается проблема упорядочения), а также границам, проходящим между ними и другими, виртуальными единицами, с которыми они вместе образуют определенный класс (то, что лингвисты называют *парадигмой*); это понятие парадигмы имеет, как кажется, основополагающее значение для понимания структуралистского подхода: парадигма есть по возможности узкий резерв объектов (единиц), из которого в акте цитации извлекается объект (единица), подлежащий актуализации, наделению актуальным смыслом; парадигматический объ-

ект характеризуется тем, что он состоит с другими объектами его класса в определенных отношениях сходства и различия: две единицы одной парадигмы должны быть сходны для того, чтобы их различие могло быть очевидным: нужно, чтобы *с* и *з* имели общую черту (зубное образование) и черту отличительную (отсутствие или наличие звонкости) для того, чтобы "коза" и "ко-са" могли разниться по смыслу; нужно, чтобы квадраты Мондриана были похожими друг на друга по своей форме квадратов и различными по пропорциям и окраске; нужно, чтобы американские автомашины (в "Мобиле" Бютора) снова и снова точно таким же образом подвергались осмотру, — и отличались друг от друга маркой и цветом; нужно, чтобы эпизоды мифа об Эдипе (в анализе Леви-Стросса) были в одно и то же время тождественными и разнообразными, — для того, чтобы все эти единства, эти произведения могли постигаться как таковые. Итак, операция расчленения дает модель в первичном состоянии распыления, но собрание элементов структуры отнюдь не анархично, каждый из них, вместе со своим виртуальным резервом, составляет разумный организм, подчиненный главному действующему началу — принципу наименьшего различия.

Определив единицы, структуралист должен найти или установить для них правила соединения: таково действие упорядочения, которое следует за действием членения и выбора. Синтаксис искусств и речевых единств, как мы знаем,

необычайно разнообразен; но в каждом произведении, следующем структурному плану, мы находим регулярно действующие ограничения, формализм которых (по недоразумению ставший объектом критики) играет гораздо меньшую роль, чем стабильность; ибо на втором этапе моделирования идет своеобразная борьба против случая; поэтому закон повторимости элементов имеет здесь почти демиургическое значение: именно благодаря повторению элементов и объединений элементов произведение кажется построенным, т.е. осмысленным; лингвисты называют эти правила сочетания *формами*, и было бы хорошо сохранить такое строгое употребление этого избитого слова: существует определение формы как того, что позволяет сочетанию разных элементов не выглядеть чистой случайностью: произведение искусства есть то, что человек отвоевывает у случая. Таким образом, мы лучше понимаем, с одной стороны, почему так называемые беспредметные произведения искусства являются в высшей степени произведениями — в них человеческая мысль выражает себя не в аналогиях, пользуясь копиями и моделями, а в регулярности сочетаний, — а с другой стороны, почему те же произведения кажутся случайными и тем самым бесполезными тем, кто не видит в них никакой *формы*: в абстрактной картине Хрущев видит лишь мазню ослиным хвостом по холсту; в этом он, конечно, ошибается, но, во всяком случае, он по-своему сознает, что искусство — это победа над случаем (он

просто забывает, что любому правилу нужно обучиться, будем ли мы применять это правило, или его расшифровывать).

Так построенная модель не передает реальности в ее первоначальном виде — и в этом заключается значение структурализма. Во-первых, он раскрывает новую категорию объекта: не реальное и не рациональное, а функциональное, приобщаясь тем самым к целому комплексу наук, который развивается вокруг исследований об информации. Во-вторых, и это главное, он бросает свет на только человеку свойственный процесс наделения вещей смыслом. Ново ли это? В какой-то мере — да; конечно, во все времена люди искали смысла того, что было дано в окружающем их мире, и того, что мир производит; новизна заключается в мысли (или "поэтике"), которая занимается не столько приписанием постоянного смысла вещам, ею открытым, сколько постижением, каким образом, какой ценой, какими путями смысл возможен. Можно даже сказать, что объект структурализма совсем не человек с его изобилием смыслов — словно содержание значений не исчерпывает семантических целей человечества, — а только акт, в результате которого появляются смыслы — изменчивые, исторические, случайные. *Homo significans* — вот новый человек структуралистского поиска.

("Структуралистское действие",
in: *Essais critiques*, coll. "Tel Quel", Paris, 1964)

Весьма знаменательно, что сфера, которую Ролан Барт наметил для этого структуралистского действия, шире рамок той или другой науки, шире науки вообще, наравне с последней охватывая и художественную продукцию. Действительно, освобождение обозначающего ставит под сомнение критерии, на которых основывалось противопоставление искусства и науки; в более общем смысле, проявляя особый интерес к фактам, традиционно бывших Предметом гуманитарных наук, структурализм потряс систему идеологических полей, характерных для западной культуры: науки, искусства, философии.

IV. НАУКА, ИСКУССТВО, ФИЛОСОФИЯ

1. Философия? Питавшаяся идеалом автономии, философия видит сегодня, как расшатываются ее главные положения по мере развития гуманитарных наук. Гегель определял философию как мысль, свободную от каких-либо предварительных допущений:

”Философствующая мысль вторгается в процесс мышления в результате чистого акта решения (мышление одиноко в самом себе)”.

И Гуссерль, отнюдь не склонный ощущать философию историческим событием, видел в ней явление самой истории, так что в каком-то смысле рождение философии происходило внутри самой философии, ускользая от исторического процесса. Но историческая наука (особенно история античной древности со всем тем, что она получила и надеется еще получить от этнологии) разрушает эти притязания на автономность: философия никак не *causa sui*, у нее есть начало, есть предпосылки, ее рождение составляет часть истории. Как пишет Жан-Пьер Вернан:

”Непорочное зачатие Разума не существует”.

При таком подходе и при новом вкладе лингвистики и психоанализа философия в свою очередь перестает быть сосудом знания о самой себе и становится объектом науки. Жан Бофре пишет по этому поводу:

Не только греческая философия, может быть, философия вообще осталась сегодня позади нас, уступив место наукам, вырвавшимся из нее и с огромной силой толкающим наш мир неизвестно в каком направлении”.

Итак, с этой точки зрения философия испустила дух, перестав обладать абсолютным знанием и превратившись сама в объект науки.

Но, может быть, замечает Жак Деррида, что философия всегда жила сознанием своего умирания и что сообщество философов всегда было и остается ”сообществом вопроса”. Таким образом, если с одной стороны те, кто стоит на точке зрения науки, в частности, гуманитарных наук, объявляют о смерти философии, то, с другой стороны, для самой философии разговоры о ее смерти означают не столько констатацию смертельного исхода, сколько в полном смысле слова жизненно важный вопрос.

И кроме того, в то время, как гуманитарные науки претендуют на отход от языка философии, на отказ от метафизики, философия задается вопросом о том, что могут значить эти претензии, она обнаруживает скрытые в философемах импликации западного культурного языка и пока-

зывает, как легко впасть в заблуждение, думая обойти эти импликации, ибо стремиться уйти от них уже значит — быть у них в плену. Это продемонстрировал Жак Деррида на примере лингвистики Соссюра и этнологии Леви-Стросса. Следовательно, задача философии состоит в том, чтобы

”открыто и систематически ставить вопрос о статусе деятельности, которая черпает из классического наследия средства нужные ей для разрушения этого наследства”.

”Я пытаюсь работать на границе философии”, — заявил Деррида. Именно в пограничной зоне функционирует философия в эпоху развития гуманитарных наук, она пытается определить границы, внутри которых мыслила до сих пор, пытается обозначить предел, то и дело нарушая его.

2. Однако, наука также подвластна эволюции и математической модели, с которыми изначально ее отождествляли, теряют свою исключительность (или, что то же, получают иное определение). Старая альтернатива: количественное знание или ненаучное знание — научно лишь измеримое — перестает быть истиной; уже предоставляемо научное знание качественных явлений, и оно уже стало одним из плодотворнейших критериев структурного метода, который мысль измеряющую подчиняет мысли упорядочивающей. Стала возможной наука о качественном, которая не удовлетворяется количественными измерения-

ми, а изучает качественное как структуру. Поэтому Жиль-Гастон Гранже разоблачает "количественную иллюзию", ссылаясь на возможность структурного порядка вполне строгого, хотя и "полностью свободного от каких-либо численных импликаций".

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ИЛЛЮЗИЯ

Большинство критических замечаний, направленных против защитников точной науки о человеке, так или иначе связано с проблемой *качества*. Все критики выражают опасение, что от научного знания ускользает именно то, что в человеке и его творениях кажется самым важным, самым характерным, наименее поддающимся какой-либо схематизации. Признается, правда, что за истекшие четыре столетия Галилей, Лавуазье, Клод Бернар указали пути освоения внечеловеческой объективности, что за это время физики, химики и даже биологи научились отвлекаться от *теплого и влажного*, от *сладкого и горького*. Но что касается психологической или социальной реальности, от ученого все еще требуется воспринимать ее в таком виде, в каком она предстает перед нашим непосредственным опытом, т.е. в виде слепка качеств. Если нам легко принять сегодня, что по отношению к элементам природы качество есть лишь видимость, или, точнее говоря, если нам легко принять особую феноменологию, для которой объект определяется абстрактны-

ми схемами, позволяющими получить его связанный образ, то такой подход к человеку наталкивается на многие трудности. В этой области распространено мнение, что сама *сущность* явлений имеет качественный характер (...).

Однако качество проявляется прежде всего как ограничение, а еще точнее, как *разница*. Нет сомнения, что именно этот аспект качественного может быть подвержен концептуализации и служить базой для диалектического подхода. Качество — это аристотелевская *διαφορά τис υσιας* из книги Δ , но разница имеет смысл лишь в системе противопоставлений и взаимоотношений, системе, которая заставляет нас перейти от непосредственно воспринимаемого и, как может казаться, изолированного "*бытия-здесь*" — к структуре. Фонология дала нам пример такой диалектизации качественного в фонетике. И уже сейчас можно сказать, что концептуализация качества не обязательно реализуется через количественное, как того требует гегелевская Логика. Фундаментальное с философской точки зрения завоевание математики XX века состоит в осознании внеколичественной диалектики качества. Следует особо подчеркнуть значение этого открытия, ибо для большинства ученых-гуманитариев математизация равнозначна с введением количественных категорий и даже прямо чисел (...).

Теперь же следует осуществить концептуализацию интуитивного и смутного представления о *приблизительном*. Современная математика

уже располагает сложной теорией приближительных величин, в которой главными инструментами служат глубоко разработанные темы *предела и конвергенции*. Топология абстрактных структур, вначале построенная для описания свойств множеств точек в геометрии, дает модель и отправной пункт для теории *приближительного*, необходимой для науки о качестве. Пришло время гуманитариям подсказывать новые вопросы математикам.

Можно сказать, что научная разработка качественных понятий заключается скорее в переходе от неструктурного к структурному, чем в квантификации этих понятий. Во всяком случае, переход к количественному не более, чем один из возможных результатов этой диалектики. Именно в такой перспективе следует рассматривать новый подход к проблеме качества, завоевывающий важное место в гуманитарных науках.

(Формальное мышление
и наука о человеке, 1960)

3. Научный язык — нечто совсем иное, чем язык разговорный. Если

”письменная форма обиходных языков в большинстве случаев не более, чем транскрипция разговорной речи, т.е. вторичный код, то в научном обиходе эта письменная форма и есть ’живая ткань языка’,” —

по выражению Гранже. Но в чистом виде она не встречается даже в научных работах, всегда смешиваясь с заимствованиями из обиходного языка, и дозировка того и другого определяет стиль, свойственный каждой науке и каждому ученому; стиль этот делает возможной "эстетику научного языка":

"дозировка обиходного и формального языков в каждой области науки и даже в работах каждого ученого в отдельности определяет стиль научного мышления, в котором нельзя не усмотреть аналогии со стилями литературными".

Но Деррида показал, что даже в "обиходных языках" письменная форма, *письмо*, не может рассматриваться как простая транскрипция речи, и что каждая речь предполагает наличие своего рода "архи-письма". В этих условиях происходит то, что можно характеризовать, как освобождение письма от опеки разговорной речи. Причем к освобождению этому ведут изыскания и в науке, и в философии, и в литературе, одинаково стремящиеся вырваться из линейности (структуру нельзя свести к линии).

"Уже больше ста лет, —
пишет Жак Деррида, —

как стало заметно волнение в философии, науке, литературе, все перевороты в которых можно истолковать как потрясения,

разрушающие линейную модель строения”.

Освобождение, о котором идет речь, позволяет взглянуть не на сущность науки, а на пространство, включающее и науку, и литературу, и философию, где различия между ними начинают стираться. ”Грамматология” представляется в меньшей степени наукой о письменных формах, о письме, чем раскрытие границ науки через письмо.

НАУКА И ПИСЬМО

Что вообще может означать наука о письме, если мы знаем:

1⁰ что сама идея науки родилась на определенном этапе развития письма;

2⁰ что она мыслилась и формулировалась как задача, идея, проект, на языке, в котором заранее даны были определенные отношения — структурные и аксиологические — между речью и письмом;

3⁰ что вначале она связывалась с понятием и с перипетиями развития фонетического письма, которое представлялось как телос письма вообще, тогда как постоянный образец научности — математика — все больше и больше от него удалялась;

4⁰ что более узкая идея *общей науки о письме* зародилась — и не случайно — на определенном этапе мировой истории, приближи-

тельно в XVIII веке, и в определенной системе отношений между живой речью и ее записью;

5⁰ что письмо не просто состоит на службе у науки в качестве вспомогательного средства — или же, в некоторых случаях, ее объекта — но — и это главное, как напомнил Гуссерль в "Происхождении геометрии", — составляет условие возможности существования идеальных объектов, а значит, и научной объективности. Прежде, чем стать его объектом, письмо является условием наличия *эпистемируемого*;

6⁰ что сама историчность как таковая связана с возможностью письма в самом общем смысле, охватывающем не только частные формы письма, служившие критерием для тех, кто долго разглагольствовал о народах без письменности и без истории. Прежде, чем быть объектом истории — исторической науки — исторического развития. (...)

Итак, наука о письме должна искать свой объект там, куда уходят корни научности. История же письма должна вернуться к истокам самой историчности. Наука о возможности науки? Наука о науке, облеченная не в форму логики, а грамматики? История возможности истории, переставшая быть археологией, философией истории или историей философии?

Положительные классические науки о письме не могут поступить иначе, как устраняя вопросы такого типа. В какой-то мере это необходимо для накопления положительного знания. (...)

Между тем, из работ последнего времени можно догадываться о том, что в будущем представит собой грамматология, которой уже не придется заимствовать главные понятия у других гуманитарных наук, или — что почти всегда значит то же, — у традиционной метафизики. Уже можно догадываться — настолько богата и нова информация и ее трактовка, даже если концептуализация еще не всегда поспевает за смелыми намерениями этих новаторских начинаний.

И нам кажется, что в будущем грамматология не должна быть одной из гуманитарных наук, так же, как она не должна стать еще одной из локальных научных дисциплин.

*(“О грамматологии”,
часть 1, гл. 2 и 3, 1967)*

Пространство, открытое развивающимися гуманитарными науками (даже если в ходе развития они ставят под сомнение свою терминологию, определения, само существование), преобразуется. И преобразования эти позволяют правильно понять некоторые литературные поиски последних лет, занятые мыслью о том, что необходимо, по выражению М. Пэше,

”модифицировать существовавшее доньше разделение труда между ‘литераторами’ и ‘учеными’ так, чтобы в решающих концептуальных операциях использовать математический язык”.

Знаменитой формуле, которую цитировал Клод Бернар:

”Искусство — это я; наука — это *мы*”,
отвечает лозунг Изидора Дюкасса:

”Поэзия должна делаться всеми, а не одним”.

Уже сюрреализм — как известно, исключительно чуткий к открытиям гуманитарных наук, особенно в областях психоанализа и этнологии, пытался развернуть настоящую коллективную деятельность: автором произведений должен быть сначала коллектив, а лишь затем — индивид. Среди других ”коллективов”, на этой позиции стоит сегодня группа “Tel Quel” (что означает в приблизительном переводе: ”В первоначальном виде”), заявившая, что функция группы состоит в том,

”чтобы быть для каждого из ее членов средством диалектического самообразования. Именно внутри группы теория и практика углубляются взаимно и каждая в отдельности”.

В этой коллективной работе литература шагает в ногу с наукой. (...)

В конечном итоге речь идет о пересмотре идеологического кода нашей культуры. Об отказе от специальности, балканизации, герметических перегородок между дисциплинами. Этот пересмотр имеет политический смысл. Он про-

исходит в одно время с развитием так называемых "гуманитарных наук" и поэтому в их зыбких границах сталкиваются самые разные поиски, единственная общая черта которых состоит подчас в том только, что они с великим трудом умещаются в традиционных идеологических рамках.

* * *

Примечание

HOMO NOSCE TE IPSUM: — "познай самого себя"

— этими словами дельфского оракула Линней определяет по-латыни специфическое отличие человека. Французский перевод дает на это место более привычное прилагательное: "сапиенис". Перевод формулы "познай самого себя" определением "сапиенис — разумный" не менее знаменательно, чем повелительное наклонение, которое используется для того, чтобы найти место человека в описательной системе естественных существ.

II.

ТРУД

Перевод Михаила Розанова

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ

ОБРАБОТАННАЯ ЗЕМЛЯ

”Труд — отец, а земля — мать”.

Карл Маркс

1. ЧЕЛОВЕК И ЗЕМЛЯ

География — описательная наука о Земле — или о земле. Существует некоторая неопределенность объекта ее исследований в отношении его места во вселенной, его материального состава. Что, собственно, описывается? Планета как космическое тело, или ее поверхность, или только суша, материки и острова, или их рыхлый почвенный покров, в пределах которого существует животный и растительный мир? В рамках этой неопределенности возникла экономическая география, основным постулатом которой является последовательное совмещение наших представлений о земле как о сфере существования растительного и животного мира с представлениями о Западе как о планете людей, совмещение, осуществляемое в результате произведенной деятельности в ее различных формах, все более видоизменяющих ее поверхность (мосты, корабли, самолеты и т.д.) и уже выходящих за ее пределы.

Земля — планета людей, и суша, почва исследуются географами лишь в той мере, в которой они являются ее поверхностью. Земля определяется, таким образом, ее жителем, который, сообразно многочисленным мифам, является ее сыном, благодаря которому Земле приписывается искусительная сила и матери, и дома. Она станет Женщиной, в которой люди то воплощают свои труды, то черпают свои радости. Земля, сообразно этому двойственному восприятию, на которое указывал Башлар, носительница как мечты об усилиях и трудах, так и мечты об отдыхе. Ее символизирует Пандора из греческого мифа, одновременно и Земля, и Женщина, источник и тягот, и удовольствий. Жан-Пьер Вернан пишет:

”В двойственном облики Женщины и Земли Пандора олицетворяет плодородие, каким оно представлялось в век железа в производстве продуктов питания и воспроизводстве жизни. Это уже не то неожиданно изливающееся на нас изобилие, которое в золотой век высшим повелением, без постороннего вмешательства приводило к появлению и живых существ, и пищи для них. Отныне это человеку суждено заронить жизнь в лоно женщины, как сеятелю, который, трудясь на земле, возвращает в ней зерно. Все добытые блага должны быть оплачены соответствующими усилиями”.

Для более древних времен земля порождала непосредственно все формы жизни. Гея — не

только Пандора, объединяющая роль женщины и земли, но и нерасчленимое единство "Матери-Земли", из которой человек вышел, на поверхности которой он живет до того мига, когда, окончив свой жизненный путь, возвращается в ее чрево. Поэтому география воспринимается не столько как служение, но и как акт кровосмесительный и дерзновенный, ничем не отличающийся от того, мечту о котором Бодлер описывает в "Великанше" — этой сестре Пандоры:

Я наблюдал бы рост могучий с удивленьем,
Карабкался бы вверх по согнутым коленям,
А в летний зной, когда на черно-синий мох
Она простерлась бы и тень ее скрывала, —
Спал на ее груди, меж двух живых холмов,
Как мирный городок у горного провала.

(Перевод Павла Антокольского)

Действительно, как и деревня (хуторок) географ является частью пейзажа — человек на земле у себя дома. Эта "свойскость", "одомашненность" не позволяют земле быть землей как таковой, она всегда, по выражению Гуссерля, "наша Земля". Ее объективность никогда не может осуществиться полностью, поскольку земля существует лишь при том условии, что тот, кто говорит о ней, находится в ее пределах и даже является ее частью. Это обстоятельство Жак Деррида в предисловии к книге Гуссерля "Происхождение геометрии" считает непреодолимым.

”Если возможна объективная наука о земных предметах, то объективная наука о самой земле, основе этих предметов, в такой же мере невозможна, как невозможна объективная наука о трансцендентальной субъективности. Трансцендентальная земля не является объектом и не может им стать. Возможность существования геометрии — оборотная сторона невозможности того, что следовало бы назвать геологией, объективной наукой о самой земле”.

Земля никогда не станет для нас просто планетой, определяемой ее положением в центре астрономических систем. Она остается архимедовой точкой опоры, местом человеческой жизни, и в этом смысле прочность ее центрального положения не была затронута коперниковой революцией: то, что астрономия перестала быть геоцентрической, означает лишь, что космология прежних времен распалась на астрономию и географию. В географии всякая революция типа коперниковой заведомо исключена.

Таким образом, география как воплощение неоднозначных, порой туманных связей человека и Земли, должна, как кажется, ускользать от ”психоанализа объективного знания”, каковую продемонстрировал Башлар в своей работе ”Формирование научного разума”. Отметим, кстати, что неясный характер этих связей побудил некоторых географов прибегнуть к тому, что можно назвать поэтическими аргументами

(“ландшафт — это состояние души”), безусловный признак донаучного подхода. Так, для Максимилиана Сорра “настоящий географ не может не быть художником”, почему Сорр и сетует на то, что

“за последние десятилетия распространилось недоверие к художественной форме географического описания. Наша наука от этого обеднела”.

Такое промежуточное положение географического описания между поэзией и наукой Эрик Дардель стремится обосновать в своем исследовании того, что он называет “географичностью” человека (так же, как говорят о его “историчности”):

“Благодаря привязанности к родной земле — или стремлению к перемене места, между человеком и землей складываются особые отношения, ‘географичность’ человека как форма его существования и его судьбы”.

Дардель обосновывает это в первую очередь исторически, отмечая, что

“в XVIII веке, к концу которого возникла научная география, существовала география сентиментальная, чувственная, которая, соединяясь с воображением, стремилась к художественной выразительности. География как чувственный опыт и как

эстетическое наслаждение стала самовыражением человека — благодаря Бернардену де Сен-Пьеру и Руссо — предшественникам Шатобриана”.

”Этот эстетический подход помог географическому пониманию земли: он предшествует ему и открывает ему дорогу”.

Эрик Дардель так обосновывает это сочетание науки и поэзии:

ЯЗЫК ГЕОГРАФИИ

Этимологически география — это ”описание” Земли, но более точно греческий термин означает, что земля — это язык, который следует расшифровать, что рисунок береговой линии, крутые склоны гор, изгибы рек образуют знаки этого языка. Задача географов — прочесть эти знаки, то, что Земля сообщает человеку об условиях его существования и о его судьбе.

Это не столько раскрытый перед нами атлас, сколько зов, поднимающийся от почвы, от волн и от лесов, надежда или отказ, могущество, присутствие. Всюду, — пишет Видаль де ла Блаш о вогезских лесах, — и там, где они занимают все пространство, и там, где они разрежены вырубками, леса присутствуют. Они захватывают поле зрения и покоряют воображение. Они — естественная одежда местности. Изгибы гор прикрыты темной мантией, украшенной светлыми пятнами буковой листвы. Ощущение высоты смягчено

ощущением леса. Присутствие настойчивое, неотвратимое, и в игре тени и света язык географа без усилий становится языком поэта. Язык прямой, прозрачный, более понятный нашему воображению, нежели объективная речь ученого, потому что он верно передает знаки, записанные на земле.

*(L'homme et la Terre. Nature de la
réalité géographique.
"Nouvelle encyclopedie philosophique" —
P.U.F. 1952)*

Конечно, во всем нужно знать меру: его собственные выступления в защиту поэтической географии не помешали Максимилиану Сорру отвергать чрезмерный детерминизм экономической географии, детерминизм, которому Люсьен Фебр приписывает опасное обожествление почвы и который приводит, по мнению Макса Дерюо, к "мистицизации" подлинно научного взгляда на мир. Чтобы избежать таких последствий, следует в первую очередь отвергнуть их чувственный поэтический источник. Поэтому Макс Дерюо во "Введении в экономическую географию" рассмотрение как раз произведений Видаля де ла Блаша начинает словами:

"прежде всего, нас смущает стиль. В нем есть что-то поэтическое, что сегодня неуместно".

Тем не менее, — по Эрику Дарделю,

”скажем со всей откровенностью: вне человеческого присутствия, действительного или воображаемого, не существует географии, даже физической — есть лишь бесполезное знание. Антропоцентризм — не недостаток, а неизбежное условие”.

Таким образом, всякая география в основе своей чужда, и так называемая ”физическая” география может быть выделена лишь искусственно и временно: Земля — ойкумена (т.е. обиталище) человеческое. По крайней мере, по праву, и это право превращается, если уже не превратилось повсюду, в неоспоримый факт.

Конечно, на самом деле человек не всегда населял всю землю, многие территории долго сопротивлялись заселению. Исходя из этого, Максимилиан Сорр выделяет в облике Земли

”три (и только три) категории особенностей: физического (рельеф, климат, текущие воды), биологического (во всех видах) и человеческого характера (последние — с присущей им психологической заданностью)”.

Но особенности чисто физического характера либо вовсе не интересуют географию как таковую, а скорее другие науки: физику, химию, астрономию, либо существуют для географа лишь для того, чтобы отметить границы его интересов. Территории, лишённые биологического и человеческого воздействия (и, естественно, необитаемые) не могут быть отнесены к тому, что Альбер Де-

манжон обозначил как "географическая среда". Один из его критиков уточнил определение, отметив, что

"за исключением отдаленных пустынных районов или областей вечных горных снегов для человека не существует физической среды в чистом виде".

К тому же чисто физические особенности, если исключить не только человеческий, но и биологический фактор, не представляют собой даже и этой среды, поскольку само это понятие подразумевает некий биологический центр, который она окружает. Следовательно, физические особенности определяют внешние и внутренние границы географических интересов (...).

Примечательно, что Жан Брюн, признавая, разумеется, что значительная часть нашей планеты ускользает от человеческого воздействия, определяет предмет географии как исследование пространства, где *может* появиться жизнь: "поверхностную" часть нашей планеты. ("Жизнь — это кожная болезнь Земли", — говорил еще Ницше). География, таким образом, это исследование тонкого слоя между земной корой и атмосферой, где возможно возникновение жизни и преобразование мира в среду обитания.

ЗЕМЛЯ, МЕСТО ЖИЗНИ

Географическая оболочка включает в себя две зоны: нижние части атмосферы и верхнюю часть

земной коры. Всюду, где эти сферы соприкасаются, можно наблюдать взаимодействие трех ведущих факторов:

1. Солнечное тепло определяет на нашей земле всякую активность и все формы жизни; его воздействие сказывается, главным образом, там, где соседствуют атмосфера и земная кора. Прогретые части атмосферы — это наша земная сфера.

2. В той же зоне контакта атмосферы и земной коры атмосферные явления (колебания температуры, осадки и движения воздушных масс) и их последствия, такие, как текучие воды и ледники, ведут непрерываемую работу по разрушению поднятий земной коры и заполнению впадин.

3. В той же зоне сконцентрированы все феномены растительной, животной и человеческой жизни.

На поверхность земли птицы опускаются для добычи пищи и отдыха. Рыбы и беспозвоночные, даже глубоководные, существуют на незначительном удалении от поверхности, во всяком случае, при сравнении с радиусом всей планеты. Человечество, в свою очередь, еще более сконцентрировано в узкой полосе соприкосновения нижних слоев атмосферы и верхних слоев лито- и гидросферы.

Зона смещения и взаимного наложения всех этих ведущих факторов и является объектом ис-

следования географов, предметом географической науки.

*(La géographie humaine,
édition abrégée mise au point par
Mme M. Jean-Brunhes De Lamarre
et Pierre Deffontaines, — P.U.F. 1942)*

В той же зоне контакта поверхностей возникает, благоприятствуя развитию жизни, то, что мы определяем тем же словом "земля": гумус и другие разновидности почв. Коренные породы разрушаются в результате механического и химического воздействия атмосферных факторов до рыхлого состояния, и на этой поверхности поселяются растения, а затем и животные, и их существование, отмирание и разложение приводят к образованию почвы как органо-минерального образования. Среди прочих уже Ламарк подчеркивал значение этого процесса:

"Живые организмы, благодаря заключенным в них жизненным силам, представляют собой то средство, которое природа использует для создания и поддержания существования великого множества разнообразных явлений; без этого мощного фактора эти явления никогда не возникли бы".

*("Зоологическая философия",
ч. II, Введение).*

В другой работе ("К систематике беспозвоночных", Вступление) он еще раз подчеркивает:

”На таких обширных пространствах, как африканские пустыни, где в течение веков почва была лишена поддержки живых организмов, бесполезно искать что-либо кроме кварцевых песчаных частиц. Даже минералогическое разнообразие там сильно ограничено.”

Следовательно, сама земля как химическое образование уже является результатом воздействия живой природы; физическая география уже включает в себя объекты биогеографических исследований. Анри Элэ в следующих строках описывает этапы освоения скальной поверхности растениями:

РОЖДЕНИЕ ЗЕМЛИ

Тому есть множество примеров, как без всякого вмешательства человека обнаженные горные породы осваиваются и преобразуются живыми организмами, последовательно сменяющимися друг друга, чтобы сформировать в конце концов комбинацию, сходную с той, которая существует в издавна освоенных землях.

Мы можем наблюдать это на горных осыпях, у подножия изолированных скал, на подмытых берегах рек, при отступании моря. Но во всех этих случаях освоению территории благоприятствует наличие рыхлых пород, тонкообломочного материала, который предоставляет растениям необходимые элементы. Иная ситуация складыва-

ется при освоении монолитных скальных пород: на участках, эродированных ледником, на прибрежных скалах, на остывшей лаве. Здесь нет ничего, что нужно высшим растениям: ни тонких глинистых частиц, ни гумуса; воздух и вода не могут циркулировать свободно, разве что по трещинам. Лишь примитивные растения могут приспособиться к таким условиям: одноклеточные водоросли, грибки и лишайники, черпающие непосредственно из скал элементы, необходимые для их существования.

Эти элементы являются результатом непосредственного воздействия воды, содержащей кислоты, на горные породы; выделения одноклеточных организмов способствуют выветриванию, вначале распространяющемуся по мелким трещинам. В конце концов образуется гумусовый слой, к которому добавляется пыль, принесенная ветром, задержанная растениями, застрявшая в трещинах. Тогда организмы-пионеры заменяются более требовательными растениями, лишайниками более высокой организации, затем мхами (в торфяниках, расположенных в ледниковых карах в Вогезах, можно наблюдать сфагнумы, расположившиеся непосредственно на гранитах), мшанками, постепенно углубляющими выветривание. Вскоре скалы уже и не видно, она скрыта почвой. На ней устраиваются высшие растения, и животные находят здесь свое пристанище. Более мощные корни открывают путь для более глубокого выветривания, химическое разложение усиливается. В ставшей более мощной почве разви-

ваются микроорганизмы, участвующие в накоплении гумуса; зерна, принесенные ветром и птицами, прорастают по мере улучшения условий.

*(Biogéographie. Collection U,
Armand Collin, 1968)*

Земля не только место развития жизни, она по праву открыта для человеческого обитания. Впрочем, идея не нова: ее можно найти уже у Декарта и у Канта, утверждавшего, что

”человек приспособлен ко всякому климату, к любым почвенным условиям”.

(”О расовых различиях”).

В наши дни это право стало реальным фактом, и географ Пьер Дефонтен предлагает биологически характеризовать человеческий вид по его вездесущности: он распространен по всей поверхности планеты без нарушения цельности, доказывая тем самым свою уникальную гибкость.

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО, ЕДИНСТВЕННЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ ВИД

Человеческий вид — одновременно полярный и тропический, степной и лесной. Он расселяется то небольшими группами, то большими сообществами, он ведет как оседлый, так и кочевой образ жизни. Начиная с неолита, он расселяется по всей планете, приспособливается к любой поч-

венно-климатической обстановке, и плотность его населения ощутимо возрастает.

(Этот ускоряющийся рост человечества ведет к чрезмерной населенности, угрожающей "разорвать нашу планету", становящейся слишком человеческой.)

Подлинное завоевание Земли человеком произошло совсем недавно, и возрастание плотности населения планеты стало ощущаться лишь в самые последние столетия, особенно в XIX-XX веках, отмеченных явлением, которое можно назвать демографическим взрывом. Если XIX век сохранит эти демографические тенденции, в 2200 году человечество будет насчитывать 170 миллиардов. Проблема размещения человечества, уже сейчас тревожная, станет неотложной; география народонаселения станет важнее, чем когда бы то ни было.

(*"Le phénomène humain et ses
conséquences géographiques",
in: Géographie générale,
Encyclopedie de La Pléiade, t. XX;
Gallimard, 1966)*)

Этот рост человечества сопровождается своеобразным явлением: толщина поверхностной зоны контакта земли и неба, пределами которой ограничено человечество, начинает возрастать. Когда распространение по горизонтали наталкивается на препятствия, оно продолжается по вертикали; осваивается воздушное, а также под-

земное и подводное пространства. В связи с завоеванием космоса появляется парадоксальная возможность лунной и межзвездной географии.

II. ИСТОРИЯ И ГЕОГРАФИЯ

Человек, будь то путешественник или крестьянин, чтобы не сбиться с пути, или чтобы освоить определенную территорию, так или иначе формирует свое представление о земле, на которой он находится. Эти представления приводят его к созданию географии в традиционном смысле слова, то есть картографии. Не говоря о греках и арабах, ее современные основы заложены Варениусом (1622-1650), автором *Geographia Generalis*; впрочем, вопросы экономической географии в ней не затрагиваются, они полностью отнесены к области исторических знаний.

Идея экономической географии зародилась в конце XVIII века, в результате странного слияния зарождающейся социологии и развития естественных наук. Странного, — поскольку социология устами Монтескье с его так называемой теорией климатов утверждала влияние географической среды на социальную жизнь, тогда как естественные науки подчеркивали фактор человеческого воздействия на среду обитания. Так, Бюффон в "Истории минералов" предлагал седьмой и последний этап "истории природы" назвать

"периодом, когда силы природы уступили могуществу человечества".

Земля формирует обитающие на ней сообщества или сообщества видоизменяют среду свою

обитания? Борьбой этих двух точек зрения отмечено развитие экономической географии, в частности, в ее взаимосвязи с историей.

Утверждать главенство природной предопределенности над социальными факторами значит отрицать самостоятельность исторического процесса, поставив историю в зависимость от географии; напротив, настаивать на ведущей роли преобразующей деятельности человека в формировании ландшафта и подразделении земли на различные географические провинции означает ставить географию в зависимость от истории.

Карл Риттер, автор одной из первых работ по экономической географии ("Общая сравнительная география, или Наука о Земле в ее взаимосвязи с природой и историей человека", 1817) исходит из положения, которое Жорж Кангилем сформулировал:

"Человеческая история немыслима вне связи человека с почвой и со всей сушей. Земля в своей совокупности — прочная основа всех исторических перипетий".

Гегель часто цитировал Риттера (они были коллегами в Берлине), во многом повлиявшего на его взгляды, и, в частности, на выраженные в нижеследующих строках, которые он озаглавил

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОСНОВА ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ

Национальный тип и черты характера отдельных народов, сформировавшихся в зависимости

от того места, которое эти народы занимают на поверхности земли, должны рассматриваться как частные особенности, в которых материализуется дух, и они являются таким образом его географической основой. Тип местности существен не сам по себе, а в его конкретной взаимосвязи с характером народа, выросшего в этой местности. Этот характер и определяет форму, в которой народы появляются во всеобщей истории, и роль, которую они играют в ней.

Значение природы не следует ни преувеличивать, ни преуменьшать. Конечно, ласковое солнце Ионийских островов повлияло определенным образом на греческий эпос, но само по себе оно не порождает Гомеров; так, за все времена турецкого владычества оно новых аздов не породило.

Назовем природные факторы, которые раз и навсегда следует исключить из курса всеобщей истории: полярные и тропические страны не являются основой для возникновения исторических народов, ибо пробудившееся сознание возникает сначала в природной среде и его дальнейшее развитие представляет собою самопознание духа — в противопоставление природной спонтанности. (...)

По сравнению с Духом природа является количественной ценностью, могущество которой ограничено. Уже Аристотель говорил, что, лишь удовлетворив свои насущные потребности, человек обращается к возвышенному и всеобщему. В полярных и тропических странах человек не мо-

жет развиваться свободно, жара и холод не позволяют Духу создать собственный мир.

Необходимость здесь всегда присутствует, и человек вынужден отдавать свое внимание природе, палящему солнцу или пронизывающему холоду. Поэтому подлинной сценой всеобщей истории являются зоны умеренного климата, и, главным образом, в Северном полушарии; земная поверхность представлена здесь сушей, "грудь ее широка", как говорили греки. В Южном полушарии, напротив, суши меньше, и она разделена морями. Это различие отражается на растительном и на животном мире. На севере — множество видов животных и растений. На юге в условиях разделенности их число ограничено.

(Следует рассуждение о национальных характерах и их взаимосвязи с природными условиями тех частей света, где они возникли; мы приводим отрывок из этих рассуждений, которым начинается глава, посвященная Америке.)

Мы делим мир на Старый и Новый свет, потому что познакомились с Америкой и Австралией с запозданием. Но эти континенты новы не только относительно нашего сознания, но и объективно, по всему строению. Их геологическая древность нас не касается. Я не хочу у них отнимать чести появления из вод в тот же момент сотворения мира. И тем не менее этому архипелагу между Южной Америкой и Азией недостает физической зрелости. Земля большинства островов — лишь легкая оболочка для поднявшихся из бездны горных пород, и она обладает всеми

особенностями недавнего образования. Новая Голландия являет собой не менее зримый пример географической незрелости. Стоит углубиться внутрь страны, за пределы нескольких английских поселений, и мы обнаруживаем гигантские реки, еще не сформировавшие своих долин и заканчивающиеся болотистыми равнинами.

*(Lecons sur la philosophie de l'histoire –
– 1837 – traduction J. Gibelin, Vrin, 1963)*

Конечно, человеческая деятельность в разных частях света встречает различное сопротивление; в некоторых случаях население способно лишь обороняться от природы. Враждебная среда и неустойчивое население: Пьер Гурю подчеркивал, что в этих случаях географические объяснения подходят более, чем исторические исследования:

”Страны теплого и влажного климата (т.е. тропические) поддавались освоению с большим трудом, чем страны умеренного пояса”.

Таким образом, порой самым выбором объекта своих исследований географ более или менее сознательно склоняется к детерминизму; этот выбор может привести его к определенному попустительству, которое Луи Ружье осуждает в следующих выражениях:

”Этой же одержимостью идеей жестокого детерминизма объясняется, по-видимо-

му, пристрастие к исследованиям популяций, населяющих пустыни, высокогорья, густые леса, тундру, где подчиненность законам необходимости проявляется со всей очевидностью”.

Но Лакост также отмечает, что

”если географы сравнительно быстро избавились от узкого детерминизма при анализе Европы, то в их исследовании ’заморских’ стран долгое время отдавалось предпочтение природным факторам”.

Эмэ Сезер, отметив в книге Пьера Гурү старую идею возникновения великих цивилизаций лишь в умеренном климате, обвиняет его в ”Речи о колониализме” (1955) в замене ”биологического проклятья” расистов не менее эффективным ”проклятием географического положения”, тяготеющим над населением тропических и полярных стран.

Эта мысль в полной мере применима к тезису Арнольда Тойнби, который, с одной стороны, отмечает ”природный или расовый детерминизм”, с другой — убежден в неспособности жарких и влажных стран создавать высшие цивилизации. Он неоднократно пишет об усыпляющем влиянии тропиков.

Это в должной мере двусмысленная концепция при определенных обстоятельствах подтверждает в конечном счете биологическое проклятие и осуждает часть человечества как неспособ-

ную освоить собственную среду обитания. На самом же деле "враждебность среды" может быть истолкована в прямо противоположном смысле: ведь основная идея Тойнби заключается как раз в том, что величие цивилизации находится в обратной зависимости от благоприятных природных условий. ("В общем, благоприятные условия неблагоприятны, а неблагоприятные — благоприятны", — пишет Пьер Гурю.) Но в конкретном вопросе о тропических зонах

"логика системы Тойнби требовала бы признать, что пагубное влияние тропиков связано с на редкость благоприятными условиями" —

что неприемлемо.

Таким образом, за более или менее логичным противопоставлением неблагоприятного и благоприятного скрыта вражда между холодом и жарой (между Севером и Югом), и причины ее не столь научны, как может показаться при рассмотрении последствий этой вражды. Изначальный конфликт культуры и природы заканчивается победой или поражением человека — или простым и очевидным уничтожением (природы) — но, в любом случае, это более зависит от характера цивилизации, нежели от среды, сколь враждебной она бы ни была.

Со своей стороны, Пьер Гурю критикует такую постановку "географических проблем цивилизаций" и считает, что главным являются не столько внутренние свойства той или иной среды

(ландшафт), сколько те преимущества во взаимосвязи с другими территориями, которые той или иной район предоставляет населяющей его группе людей; именно эти преимущества лежат в основе возможного "превосходства" определенных цивилизаций.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОЗИЦИИ И ВЫСШИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Каким образом высшая цивилизация, сложный комплекс человеческих факторов, может быть создана естественной средой, которая является сложным комплексом факторов природных? Цивилизация (и, в частности, высшая цивилизация) — результат накопления и сочетания внутреннего развития и внешнего влияния, где человеческое во много раз превосходит природное. В каждой цивилизации множество явлений объясняются внешним влиянием, внешним по отношению к той территории, которую эта цивилизация занимает. Очевидно, что враждебность или достоинства среды не могут нам помочь в объяснении особенностей цивилизации. Ответ на вопрос, почему данная цивилизация возникла на данной территории, следует искать не во внутренних особенностях территории, а в предшествующих цивилизациях и тех возможностях, которые территория предоставляла для плодотворного контакта и взаимодействия с другими цивилизациями. Достоинства среды — это преимущества

выгодной позиции в пространстве, они являются относительными и временными, а отнюдь не неизменными. При благоприятных исторических условиях положение Египта, Месопотамии, Финикии, Крита, Индии или Северного Китая в значительной степени способствовало взаимодействию и бурному развитию цивилизаций.

*(“Civilisations et malchance géographique”,
Annales, Economies, Sociétés, Civilisations,
4e année, n° 4, octobre-décembre 1949)*

Именно эти соображения позволили А.Г. Одрикуру назвать Европу “перекрестком Азии”.

Пьеру Дефонтэну проблема представляется в ином свете. В работе “Общая география”, своеобразной титанической эпопее, в которой он участвовал в качестве автора и издателя, он описывает географическую оболочку как поле сражений, которые человеческий разум дает враждебным силам природы. В кратком описании задач экономической географии он пишет, что

”люди вооружились разумом, чтобы победить и подчинить себе природу, обеспечить себе господство над материей; экономическая география — описание сражений человека с различными стихиями природы: человек и лес, человек и горы, человек и ветер, человек и степь...”

Иначе говоря, для Дефонтэна враждебность природы отнюдь не является тормозом, а, как и для

Тойнби, ускорителем общественного развития. Он утверждает это со всей ясностью в заключении своей книги "Человек и канадская зима":

"Как говорил Клод Бернар, в трудности больше скрытых возможностей, чем в легком пути; зима была, несомненно, одной из главных причин технических усовершенствований, начальной школой человеческого прогресса".

Мы заимствуем у Дефонтэна другое описание сражения — боя, который человек дает ночной темноте.

ГЕОГРАФИЯ СВЕТА И НОЧИ

Ночь, ежесуточный разрыв, препятствующий человеческой активности, длится не всегда и не везде одинаково. Лишь в экваториальной зоне длительность дня и ночи постоянна, в тропиках и в умеренном поясе день длиннее летом, а ночь — зимой. В высоких широтах в определенные дни солнце вообще не заходит (летом) или не поднимается над горизонтом (зимой). Люди вынуждены спать днем и работать ночью. На полюсах день длится шесть месяцев, равно как и ночь. Но люди, в отличие от некоторых полярных животных, не впадают в спячку. Они организуют свой ежедневный отдых, даже если ночь не наступает. Кроме того, на поверхности земли ночь не наступает одновременно. Таким образом,

ночь как географический феномен варьирует в широких пределах. Человек стремится освободиться от зависимости, от естественного распределения дня и ночи, он не приостанавливает своей деятельности с наступлением темноты, и для этого борется с ней, отвоевывает у ночи ее владения.

Сами часы сна варьируют в разных странах: есть народы, ложащиеся и встающие рано; — есть другие, которые ложатся и встают поздно, и это определяет весь ритм жизни, часы работы, время еды. В испанских городах обедают в 9-10 вечера, и в 2 часа ночи бульвары еще полны народу. В Португалии, наоборот, рано обедают и рано ложатся спать. То же соотношение — в странах Латинской Америки, где говорят по-испански или по-португальски. Очевидно, это феномен культуры, а не форма приспособления к окружающей среде. На Антильских островах ложатся и встают очень рано. В Пуэн-а-Питере и Порт-о-Пренсе заутреня начинается в 5 утра. Существует и сиеста — послеобеденный дневной сон — это вторая ночь жарких стран, но далеко не всех: ее не знают в Бразилии, но этот обычай широко распространен в Средиземноморье. Можно было бы составить карту его распространения.

Это свободу по отношению к солнечному расписанию человек обрел в борьбе с темнотой, врагом человечества, который внушал ему страх и стремился отнять у человеческой активности половину времени. Человек вел эту борьбу с по-

мощью созданного им самим искусственного освещения. Он стал создателем света, — таково одно из специфических определений человека. Сначала он пытался победить темноту с помощью дерева. Вплоть до XVII века крестьянские дома в Центральной Европе освещались деревянными факелами. В Швейцарии горцы собирали в лесах молодые побеги сосны, жимолости, орешника, обдирали кору, вынимали сердцевину: для освещения комнаты нужно было четыре палочки в час. Их ставили в металлический светильник (его называли "щипцами света"), как в русских деревнях лучину. В лесах Словакии еще можно найти дома, которые освещаются еловыми палочками, которые горят под самым потолком в маленькой глиняной печке, именуемой "козух". В Лапландии, индейских поселениях Северной Канады и Швейцарии (Тессии) изготавливают свечи из бересты; и сейчас в тропических странах многие отсталые народы используют для освещения только дерево. Мбói в Индокитае сжигают маленькие сосновые и еловые конусы. Дерево постепенно вытесняется маслами — растительными, животными, минеральными.

Затем газ, а потом и электричество стали с успехом использоваться для борьбы с темнотой, и не только ночной, но и с темнотой подземелий — пещер и гротов, шахт и туннелей, а сегодня и для освещения подводного мира.

Человек научился управлять светом, и его жилище стало не только убежищем для сна, но и убежищем для света; вечера в домах стали

длиннее благодаря различным осветительным приборам. В то же время человек научился смягчать слишком резкий дневной свет с помощью навесов, тентов, занавесок. Он сделал солнечный свет более мягким, человечным. И с этой точки зрения мир поделен на страны со шторами (Англия и США), со сплошными ставнями (юг Франции) и с пропускающими свет жалюзи (север Франции).

Эта независимость освещения, сначала достигнутая для внутренних помещений, была человеком расширена и на места общественного пользования, на города и их улицы. Городские поселения стали центрами света: по газовым фонарям их отличали от деревень. Так же, как и для домов, человек постарался создать и для улиц более человечный свет; освещая их ночью, он защищает их от солнца днем, уменьшая их ширину. В Испании, Марокко, Центральной Америке даже натягивают между домами полотно или циновки, чтобы защитить улицы от чрезмерного света. Сегодня города заметны ночью по светящемуся фону в небе, и с самолета их можно отличать друг от друга по яркости этого ореола.

Человек так стремится уничтожить темноту ночи, будто хочет сохранять свою активность круглосуточно, без остановки, без отдыха. Мы присутствуем при все более полной победе над ночью. Ночная деятельность существует с давних пор, но первоначально это были тайные и незаконные занятия — контрабанда, воровство, грабеж. Сегодня все больше нормальных видов дея-

тельности продолжается ночью. Многие работы осуществляются круглосуточно, в три смены. Победим ли мы ночь полностью, удастся ли нам заменить солнце? Исследование новых, все более мощных источников энергии позволило создать ночной пейзаж, неведомый нашим предкам. Борьба с суточным ритмом — передовая линия современного сражения экономической географии.

(*“Introduction à une géographie
du sommeil et de la nuit”
in Géographie générale.
Encyclopédie de la Pléiade, t. XX, —
Gallimard 1966*)

Такая постановка вопроса не может не вызвать определенных возражений: во-первых, взаимоотношения человека и среды обитания рассматриваются как враждебные, и они становятся простым подобием метафизического противопоставления Духа и Материи. Во-вторых, для того, чтобы это противопоставление выглядело рельефнее, из всего комплекса природных условий путем абстрагирования выделяется один, желательный доминирующий элемент (ночь, холод, ветер и т.д.). Однако, уже само абстрагирование, искусственное выделение одного природного фактора придает ему характер враждебности. Мы вправе спросить себя, чем такое абстрагирование, со всей присущей ему искусственностью, помога-

ет понять совокупность фактов, исследуемых экономической географией?

Более того, с этой точки зрения разум, призванный объяснять человеческие поступки, оказывается лишь формой приспособления человека к среде обитания, — и это не позволяет нам считать человека особым видом; на проблемы человека и среды следует распространить представления Жоржа Кангилема об отношениях "организм — среда":

"Эти отношения не являются, как можно было бы предположить, непримиримой и постоянной борьбой. Жизнь, утверждающая себя в борьбе против чего-либо, уже из-за одного этого оказывается под угрозой. Тогда как жизнь здоровая, исполненная доверия и к своему существованию и к своим ценностям, — это жизнь гибкая, почти мягкая".

Следовательно, не может быть и речи о том, чтобы представлять себе связь социальной группы и географической среды как отношения хозяина и раба, хотя можно отметить и некоторые соответствия между тем, как общество формирует отношения между своими членами, и тем, как оно воздействует на природу, — тут нарождается аналогия с взаимодействием производительных сил и производственных отношений (сравнивая "Китайский сад" и "средиземноморскую овчарню", Андрэ Одрикур продемонстрировал, что изменение отношений человека и

природы всегда сопровождается изменением отношений между людьми. Например, если "возделывание поля людского" более характерно для китайской цивилизации /в первую очередь земледельческой/, то в западной цивилизации, где большую роль играет скотоводство, преобладает пасторское руководство людьми. ...)

Стоит ли в этом случае удивляться грусти Пьера Дефонтэна, звучащей в приложении к книге "Человек и канадская зима"? Заявив в начале, что самая прекрасная борьба, которую ведет человек на поверхности земли, это, безусловно, борьба со стихиями природы, он с сожалением заключает:

"Люди, похоже, не слишком интересуются этой борьбой: то, что они именуют историей, состоит в значительно большей мере из их внутренних ссор, нежели из сражений с силами природы".

Одно без другого немислимо.

Взаимоотношения человека и природы не могут и не должны изучаться независимо от взаимоотношений человека с человеком. В пренебрежении этим Бернар Кайзер упрекал авторов брошюры ЮНЕСКО, посвященной "преподаванию географии". Действительно, по их мнению, преподавание экономической географии

"покажет, сколь зависит человек от среды, в которой он живет, но еще сильнее подчеркнет приспособляемость человека к физической среде".

Эта формулировка вызывает резкую критику, поскольку невозможно разделить два таких явления как

ЗАВОЕВАНИЕ ПРИРОДЫ И КЛАССОВАЯ БОРЬБА

Взаимоотношения природы и человека рассматриваются как главное содержание географии. В самом деле, главное для буржуазных географов — это всеми силами избегать разговоров о взаимоотношениях людей между собой. По их мнению, следует в первую очередь и главным образом изучать превосходство человека над природой, материальные средства использования почвы и полезных ископаемых, человеческие поселения и их расположения. Затем — демографическую эволюцию, экономические связи между разными районами. И лишь в последнюю очередь — в какой мере занятия человека, социальная жизнь влияют на поведение, формы жизни, социальные и политические тенденции людей. Сколько предосторожностей! (...)

На самом же деле невозможно серьезно ни изучать, ни преподавать экономическую географию, не учитывая классовой борьбы как решающего фактора, столь же важного, а на определенной стадии развития даже более важного, нежели фактор физический. Если не отдавать себе в этом отчета, если закрывать глаза на мир, как можно претендовать на приобщение к познанию жиз-

ни тех людей, которым поручено воспитание и образование? Несомненно, цель не в этом. С обезоруживающей наивностью авторы брошюры демонстрируют порой свои подлинные намерения. Дети, пишут они, должны *узнать* о благотворных последствиях господства человека над природой и достижениях цивилизованных сообществ. В то же время,

”они должны также *учитывать* и недостатки, опасности этого господства”. ...

Какой прекрасный пример ”научного” объективизма!

*(“De l'objectivisme au confusionnisme dans l'enseignement de la géographie”.
La pensée, n° 35, mars-avril 1951)*

Как бы то ни было, границы среды человеческого обитания постоянно расширяются, и это завоевание осуществляется не только посредством силы, и но и посредством совращения и подкупа. Приручить — это сделать домашним. Обитать — это значит приручать.

Приручение: примечательно, что сторонник стабильной естественной истории Жорж Кювье отмечает, что именно с него началась интенсивная эволюция видов — точнее, появление их многочисленных вариантов. Действительно, именно с приручением появилось множество новых пород животных, множество, которое сама природа не могла породить.

ПРИРУЧЕНИЕ И СЕЛЕКЦИЯ ЖИВОТНЫХ

Природа позаботилась и о том, чтобы препятствовать деградации видов из-за их смешения — она наградила их взаимной неприязнью. Требуется вся хитрость и все могущество человека для скрещивания даже тех из них, которые наиболее сходны: и если метисы, результат скрещивания, и дают потомство, то лишь несколько поколений, и вряд ли давали бы и его без специального ухода. В наших лесах мы не встречаем помесей между зайцем и кроликом, между оленем и ланью, между обыкновенной и каменной куницей.

Но своею властью человек нарушает этот порядок: он скрещивает все разновидности и выводит породы, которые никогда не возникали в естественных условиях.

Разброс в этой области пропорционален потребностям человека, то есть степени закабаления животных.

Он (разброс) не слишком велик для полуприрученных животных, как, например, кошки. Более или менее мягкая шерсть, окраска, чуть большие или чуть меньшие размеры — и это все. Скелет ангорской кошки ни в чем существенном не отличается от скелета дикой.

Травоядные домашние животные, которых мы помещаем в самые разнообразные климатические условия, приспособливаем к любому режиму, которые подвергаются различным формам

эксплуатации в различных условиях питания, — тут мы получили больше разновидностей, но они все же поверхностны: большие или меньшие размеры, более или менее длинные рога (иногда полностью отсутствующие), больший или меньший жировой покров — таковы различия между ко-ровами. И эти различия сохраняются долго, да-же при переселении в другую страну, — во вся-ком случае тогда, когда люди препятствуют их смешению с иными породами.

Различия пород овец того же характера, и ка-саются главным образом шерсти, поскольку именно она интересует человека. Они несколько меньше, хотя и весьма ощутимы, у лошадей.

Обычно форма костей варьирует слабо; со-членения и суставы, форма коренных зубов не варьируют вовсе.

Слабо развитые клыки у домашних свиней, и сращение копыт у некоторых пород — таковы са-мые большие изменения, которые мы произвели у домашних травоядных. Наиболее заметные из-менения под влиянием человека произошли у на-иболее подчиненного животного, у собаки, у ви-да, столь преданного нашему, что его особи по-жертвовали нам своими интересами, своим Я, своими чувствами. Завезенные человеком во все углы мира, подвергнутые всяческому воздей-ствию, способному повлиять на их развитие, скрещиваемые по желанию их хозяев, собаки раз-личаются окраской, густотой шерсти и даже пол-ным ее отсутствием, характером. Рост их соот-носится как 1 к 5, вес как 1 к 100; они разли-

чаются формой ушей, носа, хвоста, относительной длиной ног, развитием мозга, и, таким образом, формой головы, — то вытянутой с наклонным лбом, то укороченной с выпуклым лбом. Порой различия значительнее, чем между подвидами этого вида. И, наконец, максимальные изменения, которых человек добился в царстве животных: есть породы собак с дополнительным пальцем на задних лапах, с соответствующими костями плюсны, как встречаются среди людей шестипалые.

*(Discours sur les révolutions
de la surface du globe, — 1812)*

Феномен приручения животных или растений занимает видное место в экономико-географических исследованиях. По мнению Жана Бруна,

”с географической точки зрения, география растений означает даже больше, чем география животных”.

*(Экономическая география,
сокращенное издание, стр. 119)*

Действительно,

”теперь мы знаем, что влияние климата на цивилизации осуществляется через посредство растительности”.

*(А.-Ж. Одрикур, ”Культурная технология”,
в книге ”Общая этнология”,
Энциклопедия Пляды, 1968)*

Именно этот феномен приручения флоры, появления "культурных" растений, которым агрономия позволяет выживать вопреки всем законам естественного отбора, Андре Одрикур и Луи Эден рассматривают в свете достижений генетики, шагнувшей далеко вперед со времен Кювье. Они констатируют:

"Морфология диких растений стабильна, все же представители животного и растительного мира, которым мы покровительствуем — собаки, лошади, коровы, пшеница, различные овощи и т.д. — подвержены постоянным изменениям".

Эти изменения неминуемо приводят к уязвимости и хрупкости: без человека, который сеет культурные растения и ухаживает за ними, они вскоре исчезли бы с лица земли. Таким образом, сельское хозяйство можно назвать искусством поддерживать в растениях изменения, из которых человек извлекает пользу; однако для самих растений в естественных условиях эти изменения являются недостатками, которые даже могли бы привести и к вымиранию. Таким образом, следует различать и в известном смысле противопоставить

ЕСТЕСТВЕННЫЙ И ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР

Культурные растения, как и домашние животные или как сам человек, достигший благодаря

своей техники частичной независимости от среды обитания — все они в известной мере ускользают от естественного отбора. Многие их разновидностей не исчезают.

Мы защищаем культурные растения от их дикорастущих конкурентов и от их врагов животного мира; мы сохраняем среди появившихся разновидностей те из них, которые обладают полезными для нас особенностями, как, например, крупный размер зерен или клубней, хотя эти особенности только вредили бы им в борьбе за жизнь, затрудняя естественное рассеяние семян или делая их легкой добычей грызунов.

Мы поддерживаем и выращиваем зерновые культуры с прочным колосом — их урожай легче собирать. В то же время такие колосья доступнее птицам, которые могут в свое удовольствие общипывать их по зернышку. Дикорастущие разновидности зерновых обладают хрупким колосом, зерна которого рассыпаются от легкого прикосновения.

То же происходит с домашними животными: им нечего бояться ни голода, ни хищных зверей: предназначенные на убой животные могут спокойно набирать жир, а таксы находят себе пропитание, несмотря на короткие ноги.

С помощью техники человек в значительной мере вышел из тех условий борьбы за существование, каковые существовали в начале четвертичного периода.

Человек с его домашними животными и культурными растениями образует в мире особую

группу, находящуюся с относительно недавнего времени в состоянии постоянного изменения и выработавшую собственные законы географического распространения. Вполне законно сравнение демографии человеческих рас с географией пород культурных растений.

Живые существа изменяются путем мутаций и путем скрещивания, но во всех направлениях, и поэтому невозможно говорить о приспособлении в том смысле, какой часто придают этому слову — как об упорядочивании объектов в среде подобно предметам в коробке. Естественный отбор сохраняет только те породы, которые обладают преимуществами, без какой-либо конечной цели.

*(L'homme et les plantes cultivees.
Collection "Géographie humaine"
Gallimard 1943)*

Первые географы и их последователи создали культ Земли. Американская ученица Ратцеля Элен Черчилль Семпл писала:

”Человек — продукт поверхности Земли. Это означает не только то, что сам он сын Земли, плоть от ее плоти. Он ею и зачат, и вскормлен, она наметила ему цели, руководила его мыслями, трудностями, она закалила его тело и отточила ум, поставила перед ним задачи навигации и ирригации, и даже время от времени подсказывает

ему их решение. Она вошла в его тело и в его кости, в его разум и в его душу”.

Приверженцы этого культа Земли объясняли ею всю практическую деятельность человеческих сообществ, от мифов до технических методов, от художественных стилей до политических решений. Все это приводило к преувеличению роли естественной растительности. Сегодня географы охотно противоречат создателям этой науки и в своем антропоцентризме стремятся показать, что в географической среде все, включая растительность, является результатом человеческой культуры или, по крайней мере, сельскохозяйственной деятельности. Поэтические метафоры о цветах и растениях теряют обаяние намеков на связь с темными силами природы.

Люсьен Фебр отмечал ведущую роль растительности в устройстве человеческой среды.

”Растение, —

писал он, —

подлинный посредник между неорганическим миром и иным”;

”Между физической и политической географией связующим звеном является география растений”.

И несколько далее:

”По последним данным, не северный олень продвигает за полярный круг хрупкую жизнь гиперборейцев, племен Крайне-

го Севера, а лишайник, пища скудная, но для оленей достаточная”.

Посредническая роль растений очевидна всюду; однако порой эта роль становится доминирующей в развитии сообществ, как, например, на Дальнем Востоке, где формируется, по словам Пьера Гурү,

РАСТИТЕЛЬНАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Дальневосточный крестьянин — не животновод. Использование рабочего скота минимально, как минимально потребление мяса и других животноводческих продуктов: это растительная цивилизация — вегетарианская. В ограниченных количествах крестьяне выращивают кур, уток, свиней, но не растят на убой ни коров, ни буйволов. Японцы потребляют мяса еще меньше, чем другие народы Дальнего Востока: всего лишь 1,5 кг в год в среднем на душу. Дальневосточный крестьянин не потребляет ни молока, ни масла, ни сыра, и не умеет доить коров.

Тягловый скот, относительно многочисленный, используется отнюдь не в полной мере: быки и буйволы работают лишь 50-60 дней в году. Нередко видишь буйволов, которые валяются в грязи, в то время, как люди работают в поле или переносят на своих плечах немалые тяжести. На один рабочий день человека приходится половина рабочего дня животного, в то время как в США — четыре.

Животных используют лишь на тех работах, которые требуют от человека чрезмерных усилий. Можно даже видеть крестьян, вскапывающих поле лопатой или тянущих борону. Но, если не считать пахоты или боронования, от животных не требуют ничего, потому что между человеком и животными устанавливается режим конкуренции, подлинной борьбы за существование. Поскольку скот работает, его нужно кормить; выпасов практически не существует, и скоту приходится давать зерно, то есть продукт, который человек охотно употребляет сам.

Естественные источники питания, которые скот находит в дальневосточных деревнях, крайне ограничены. Животные выщипывают короткую и жесткую траву вдоль дорог, запруд, кладбищ, иногда на вырубленных склонах холмов, где они сталкиваются с конкуренцией людей, собирающих траву на топливо. Во время пахоты подростки косят траву длиной в несколько сантиметров на корм буйволам — это проще, чем пускать их пастись. Но, чтобы прокормить одного, нужно затратить много часов человеческого труда... В этот период крестьяне кормят буйволов рисовым супом, почти не уступающим тому, который они едят сами. Отмечено, что многие крестьяне Тонкинской провинции Китая покупают буйвола перед пахотой и продают его после боронования: таким образом можно не кормить его целый год в районе, бедном пастбищами, и использовать солому для других нужд.

Поголовье скота в дальневосточной деревне

незначительно, — не столько из расчета на гектар обрабатываемой земли (одно животное на немногим более двух гектар), сколько в среднем на душу населения. Приняв быка или лошадь за единицу, свинью за $1/5$, овцу или козу за $1/7$, мы получим следующие результаты:

Япония	0,05	голов скота на душу населения
Китай	0,09	
Великобритания	0,29	
Италия	0,33	
Германия	0,42	
Британская Индия	0,49	
Франция	0,52	
Соединенные Штаты	0,98	
Бразилия	1,50	
Австралия	5,00	
Аргентина	6.12	

При высокой плотности населения дальневосточных равнин их жители могут существовать лишь при условии отказа от помощи животных. Если бы население питалось мясом и молоком, оно не могло бы быть столь многочисленным. Пастбище производит намного меньше питательных веществ, нежели та же площадь, отведенная под зерновые. У рогатого скота на увеличение веса идет лишь 6,2% потребляемой твердой пищи (57,3% теряются в воздухе, 36,5% — экскременты). Человек потребляет в пищу лишь две трети питательных веществ, идущих на увеличение веса рогатого скота; таким образом лишь 4% твердых

питательных веществ, потребляемых животными идут на пользу человеку. В Китае с одного гектара, засеянного под зерновые, собирают 10 млн. калорий, — такое же пастбище может дать лишь 1,7 млн. калорий (в форме молочных продуктов). Земледелие, то есть производство зерновых, потребляемых в пищу человеком непосредственно, способно прокормить в 5 раз больше народу, нежели мясо-молочное животноводство. Мясная и молочная пища — роскошь, которую дальневосточный крестьянин позволить себе не может. Дальневосточные цивилизации с достаточными основаниями предпочли быть вегетарианскими — для населения такой плотности это единственно возможный способ существования.

*(La terre et l'homme en Extrême-Orient.
"Collection Armand Colin", 1940)*

”Массы сельского населения Китая смогли так умножиться, потому что питались растительной пищей. Этого не случилось бы, если бы животная пища играла большую роль”, —

писал Пьер Гуру́ в исследовании ”Растительная цивилизация”.

Впрочем, основные пункты этого описания обнаруживаются при анализе ситуации в тропических странах, например, в Африке. По этому поводу Ив Лакост отмечает, что экономическая география слаборазвитых стран, в особенности

большинства стран тропической Африки, характеризуются разделением, даже разрывом земледелия и скотоводства; ими занимаются различные племена или группы крестьян — землепашцев или пастухов. Необходимо, таким образом, совместить эти два разделенные на протяжении веков вида деятельности. "Культура фуража — ключ проблемы", — справедливо отмечал Р. Дюмон в работе "Черная Африка. Сельскохозяйственное развитие" (PUF 1961).

Очевидно, среда всегда в достаточной степени сложна, как с физической точки зрения (характер слагающих ее горных пород, климатические условия и т.д.), так и с биологической (флора и фауна), и во всякой среде человеческое воздействие вырабатывает свой стиль. Но ни в каких обществах человек не действует "против среды" (как не действует он и в ее пользу), он всегда действует "в ней", в ней существует. Сложные взаимоотношения, при которых ни одна составляющая не существует без другой; при таких обстоятельствах, как показал Люсьен Фебр, бессмысленно искать один единственный источник инициативы:

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЧЕЛОВЕКА И СРЕДЫ

Следует неустанно повторять: объект географии — не поиски "влияний" Природы на Человека или Почвы на Историю. Пустые мечтания! Все эти слова с большой буквы не имеют с серьезной работой ничего общего. Само слово "вли-

яние” не из языка науки, а из языка астрологии. Так надо отдать его раз и навсегда астрологам и другим шарлатанам, как называл их добрый Бодэн, который был сыт ими по горло. Действительно, можно долго без толку топтаться на месте, повторяя возвышенные трюизмы, приобретающие силу закона благодаря магической власти абстрактных выражений, и то доказывать, что Человек подчинен Природе, то, наоборот, Природа — Человеку. Но можно и со всей серьезностью поставить подлинную проблему, проблему ”взаимодействия”, а не ”влияния”. Взаимодействие — слово здоровое, лишенное тяжкого смутного наследия, полного темноты, — без оккультизма.

Как взаимодействуют современное человеческое сообщество и современная географическая среда? Такова основная — и единственная — проблема, стоящая перед экономической географией.

Мы говорим ”единственная” не без умысла, поскольку обычно принято различать две проблемы. Говорят, с одной стороны, что экономическая география призвана показать, каким образом и в какой степени человек является географическим фактором, воздействующим и преобразующим поверхность земли, как вода, ветер или огонь. С другой стороны, она должна показать, что географические факторы, почва, климат, играют в жизни человеческих сообществ первостепенную, решающую роль. В действительности же это различие — казуистика на школьном уровне, оно никуда не ведет.

Чтобы воздействовать на среду, человек ставит себя не вне, а внутри нее; ее же воздействие на человека осуществляется именно в тот момент, когда он сам воздействует на нее. Природа, со своей стороны воздействующая на человека и обуславливающая существование человеческих сообществ — это отнюдь не девственная, незатронутая человеческим присутствием среда; это уже существенно обработанная, преобразованная, видоизмененная человеком природа. Постоянное действие и противодействие. Формулировка "взаимодействие общества и среды" подходит и для этих двух, как будто бы различных случаев. В этих взаимоотношениях человек одновременно занимает и отдает, природа дарит — но и получает тоже.

*(La terre et l'évolution humaine.
Introduction géographique à l'histoire.
Collection "L'évolution de l'humanité".
Albin Michel, 1922)*

Когда взаимная адаптация географической среды и человеческого вида становится преобладающей, то есть когда она охватывает — в процессе приручения — и другие виды, экономическая география перестает отдавать преимущество исследованиям взаимоотношений человек — материя; она должна все более считаться с факторами, определяющими жизнь самих человеческих масс. Морис Альббакс отмечал, что

”человеческие сообщества не только находятся в контакте с материей, они сами представляют собой живую материальную массу”.

Возрастающее значение этого обстоятельства характеризует эволюцию экономической географии за последнее время; Луи Ружье мог заключить по этому поводу:

”Географ, ранее занятый в основном физико-географическими вопросами, начинает обращать все больше внимания на вопросы экономической географии и демографии; взаимоотношения последних с исследованиями физических условий становятся все более неопределенными и отдаленными, тогда как их связь с изучением современной техники (транспорта, индустрии, финансов) — все более тесной”.

III. АКТИВНАЯ ГЕОГРАФИЯ

География — описание земли лишь в той мере, в какой она является, реально или потенциально, де юре или де факто, средой просто биологического, или, лучше сказать, человеческого обитания, и пространство оценивается именно с этой точки зрения. Это значит, что описание невозможно без учета различных форм производственной деятельности, благодаря которой и обитание, и освоение этого пространства обретают смысл. По этому поводу Пьер Жорж заметил:

”Ранее казалось возможным подразделять территории на бедные и богатые. Такие классификации часто оказывались негодными из-за развития техники, опрокидывавшей прежнюю шкалу ценностей. Введение орошения — один из наиболее ярких примеров”.

В этом смысле экономическая география Северной Америки до появления европейцев в сравнении с современной указывает на тот разрыв, который существовал в области техники между ”предколумбийской” и колумбовой, то есть западноевропейской, цивилизацией. Точно также целая серия географических объектов исчезла или появилась, благодаря социальным, техническим или экономическим революциям.

В. Гордон Чайлд показал, что возникновение городов (он относит его к III тысячелетию до нашей эры в Двуречьи), то есть то, что он называет "городской революцией", связано с изобретением и усовершенствованием выплавки бронзы. Оставаясь в рамках городского феномена, можно указать на совершенно очевидную связь роста торговых городов (Антверпен, Венеция и т.д.) с появлением торгового капитала, возникновение промышленных городов — с концентрацией производства, ставшей возможной благодаря механизации труда; точно так же исчезновение ряда городов, возникших благодаря использованию определенных источников энергии (например, каменного угля), связано с тем, что на новом этапе этих источников оказалось недостаточно.

Эти и подобные географические факты подводят тех, кто их изучает, к социологии и экономике. Как говорил М. Сорр,

"географ, в своем стремлении сделать понятным антропогенный ландшафт и условия человеческого существования, доходит до известных границ, и оказывается перед иными представлениями о пространстве, нежели те, что ему привычны";

они требуют методов описания и анализа, свойственных социологии и экономике. Именно в этом смысле объект его исследований — не только собственно земля, не только социальная структура населяющих ее групп, а скорее тип и

степень освоения земли, порождением, и в то же время, выражением которой данная структура является. Таким образом, экономическая география становится тем, что Пьер Жорж назвал

СОЦИАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ

Отправной точкой экономической географии нам представляется перечень производительных сил, или, если хотите, средств существования человеческих сообществ. Под ними не следует понимать простой перечень ресурсов (плодородие земель, полезные ископаемые или энергетические запасы) всего мира или определенного района, а исследование степени использования земных богатств и, что неотделимо от этого понятия, методов их использования. (...)

Следует подчеркнуть, что экономическая география — часть большой семьи гуманитарных наук, куда в первую очередь входят история и экономика.

Таким образом, объектом общей экономической географии являются условия развития производительных сил в зависимости от природной обстановки. Она определяет характер пространственных отношений между различными элементами в цепи экономических и социальных процессов. Она освещает различие форм использования производительных сил и служит введением в региональную географию. Другой ее целью является изучение модификаций, которым подвергаются социально-экономические гиперструк-

туры в зависимости от пространственных условий (размеров, распределения моря и суши, климата, рельефа и так далее). В последовательном изложении влияния то природных, то исторических условий единство описания и географического объяснения не должно утрачиваться. Так, крупные города Западной Европы, чье расположение во всех случаях могло быть объяснено исключительно географическими факторами, подверглись изменениям как по форме, так и по содержанию в зависимости от смены социально-экономического строя. Американские города, как это убедительно показал Морис Ле Ланну, стали судорожными средоточиями погони за наживой, охватившей Новый Свет, а на руинах, оставленных Второй мировой войной от Сталинграда до Варшавы, осуществляется опыт социалистической урбанизации.

*(“Réflexions sur la géographie humaine
à propos du livre de M. Le Lannou”.
Annales de géographie, n° 315, mai-juin 1950)*

И, тем не менее, в течение длительного времени запечатленные на земле следы человеческой деятельности были лишь географическим результатом попыток разрешить отнюдь не географические, а социальные, политические, военные и прочие проблемы. В Европе лишь в конце XVIII века, достигнув определенного демографического уровня и развития техники, западное общество оказалось перед все более насущной

проблемой географических последствий его деятельности, проблемы организации пространства. В попытках ее разрешить географы смогли объединиться с представителями других специальностей в разоблачении порядка, порожденного индустриальным обществом. Поль Клаваль описывает, как произошло рождение нового направления географической науки и осознание важности стоящей перед ней задачи.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

До недавнего времени вопросы благоустройства территории, обсуждаемые сейчас экономической географией, разрешались по большей части бессознательно, здесь царила свобода и анархия. Несмотря на это, некоторое соответствие организации пространства природным и социальным условиям обеспечивалось определенным социальным конформизмом, каждое общество было замкнутым, для решения своих проблем оно располагало ограниченным количеством возможностей. В каждой французской провинции плотники освоили строительство одного определенного типа домов, чем и достигалось некое равновесие. Не существовало ни эстетических, ни экономических принципов планировки пространства, покуда уровень освоения территории был низок, а сельское хозяйство было основной формой деятельности. Сильной конкуренции в использовании земли не существовало, равно как и коор-

динации труда при его разделении и специализации.

Для того, чтобы этот процесс перестал быть бессознательным и стихийным, чтобы он стал осмысленной и целенаправленной географией, потребовалось осознание несовершенства стихийных преобразований. Чтобы уловить эти новые веяния, необходимо было прислушаться к голосам реформаторов и революционеров. Но даже они, вплоть до второй половины XIX века, были не слишком озабочены этой проблемой: для революционеров и мыслителей XVIII века, равно как и для первых социалистов, проблема благоустройства среды не представляет затруднений: природа зла — социальная; чисто географических проблем не существует. Это одинаково верно и для Руссо, и для Маркса: у них не найдешь революционной доктрины организации пространства, они довольствуются существующей. Маркс протестует не против индустриального ландшафта, а против несправедливости отношений между хозяевами и рабочими. Этим периодом можно было бы и пренебречь, если бы полное невнимание к вопросам экономической географии, за некоторыми счастливыми исключениями, не влекло за собой далеко идущих последствий. Последствия эти стали особенно очевидны, когда марксистские группы, оказавшись у власти и не располагая соответствующей программой благоустройства территории, потратили годы на создание таковой. А счастливым исключением из этого общего взгляда на географию мира представляют социалисты-утописты. Сколь наивны они ни бы-

ли бы, они чувствовали потребность перестроить мир сообразно своим идеям, вообразить себе в пространстве общество, о котором они мечтали. И нарисованные ими картины представляют нам целый веер разнообразных форм, оказавших определенное влияние на преобразования, осуществленные в последующие эпохи.

Essai sur l'évolution de la géographie humaine.

"Cahiers de géographie de Besançon".

Les Belles Lettres, 1964

По правде сказать, эта оценка марксистского отношения к проблеме урбанизации кажется чересчур поспешной. По крайней мере, она полностью пренебрегает знаменитым пунктом Коммунистического Манифеста:

”Буржуазия воздвигла огромные города, она многократно увеличила число городских жителей за счет сельских, вырвав таким образом значительную часть населения из идиотизма деревенской жизни. В то же время она подчинила деревню — городу, варварские и полуварварские страны — цивилизованным, крестьянские нации — нациям городским, Восток — Западу”.

Кроме того, существуют работы Энгельса ”Жилищные условия” и ”Положение рабочего класса в Англии”, посвященные жизни индустриальных городов. Во всяком случае Маркс (и в этом он близок социалистам-утопистам) неоднократно

но подчеркивал необходимость преодоления противоречия между городом и деревней.

Но, несомненно, что при рассмотрении проблемы урбанизации невозможно отделить географическую проблему от социальной. С другой стороны, город с его эволюцией, с его подвижностью для географа является таким типом пространства, которое требует постоянного совершенствования традиционных методов изучения. Действительно, город в точном смысле слова подвижное пространство: оно растет, развивается, реорганизуется; кроме того, город — место обмена и коммуникаций, реализующихся в форме движения и перемещения; таким образом, город характеризуется не столько домами, сколько улицами, не столько улицами, сколько уличным движением. Такая мобильность вынудила географию, не выходявшую прежде за пределы изучения объектов стабильных, почти неизменных или изменяющихся крайне медленно, существенно обновить свои методы. Ив Лакост отмечает, что вплоть до недавнего времени географы изучали почти исключительно сбалансированные комплексы, симбиозы, биоценозы и другие гармоничные и стабильные структуры. Унаследованность методологии привела к существенному отставанию географии по сравнению с другими общественными науками тогда, когда противоречия, нестабильность, нарушение равновесия всех видов была обнаружена на поверхности земли.

”Если география не перестроится в науку противоречий, в географию конфлик-

тов и кризисов, перед лицом этих испытаний она рискует предстать наукой несколько отсталой, исследующей лишь редкие архаичные и устаревшие влияния, в которых гармоничное равновесие чудом сохранилось с добрых старых времен”.

(Ив Лакост)

Одна из чувствительных точек этой системы современных противоречий может быть локализована в городах.

”Из всех человеческих творений, — пишет Макс Сорр, —

города наиболее страдают от конфликтов, поскольку они наиболее полное воплощение общественной жизни”.

Феномен урбанизации идет рука об руку с высокой степенью разделения общественного труда. Это разделение, невозможное без напряженных связей морального и материального характера, сопровождается настолько развитыми коммуникациями и обменом, что их поддержание требует постоянного регулирования, размах и характер которого прямо пропорциональны объему этого обмена (...).

Город — это полюс, центр *района*. Такова давняя проблема, повод для многочисленных споров между географами: является ли само понятие ”район” географически обоснованным природным фактором — или историческим? Парижский бассейн — это понятие скорее геологичес-

кое (т.е. бассейн) или напротив, историческое (парижский)? Как бы то ни было, данная проблема неразрешима в рамках терминологии сугубо теоретической, а может быть даже спекулятивной, географии прежних времен. Район отныне не только объект географического описания, но и воздействия такой географии, которая не только созерцательна, но и деятельна — с ее помощью западные страны пытаются разрешить противоречия между городом и деревней. Определение этого основополагающего понятия экономической географии стремится сформулировать Бернар Кайзер в следующих строках:

1. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЙОН

а) Во-первых, нужно со всей ясностью подчеркнуть конкретный характер и историческую относительность понятия экономический район. Освободившись от комплекса детерминизма, географ, исследуя район, начинает с того, что крупными мазками обрисовывает его границы, рассматривает преимущества и недостатки природных условий. Затем он оценивает этот участок как "ситуацию", то есть как результат равновесия сил, в котором значительную роль играет прошлое. Сами границы района определяются этим равновесием: стоит только этим силам измениться, равновесию — нарушиться, центру тяжести — сместиться, как все, вплоть до положения в пространстве, оказывается под вопросом.

Сделав эти предварительные замечания, попытаемся перечислить первостепенные факторы, являющиеся главным мерилом, чей анализ позволяет в первом приближении подойти к выяснению и комплексному определению понятия район. Три фактора представляются определяющими: без них не существует района, есть лишь "географическая среда".

в) Экономический район определяется связями, существующими между его обитателями. Выражение "связи" в данном случае должно понимать в самом широком смысле, включающем не только взаимоотношения, но и общие черты характера. Последние часто являются основой очень тесных пространственных связей: этнические меньшинства, занимающие строго определенную территорию среди господствующей нации; система специализированного производства, например, сельскохозяйственного, горнодобывающего, в котором участвуют все обитатели данной территории; социальные структуры, определяющие характер отношений между местными жителями и т.д.

Эти связи придают территории определенное своеобразие, но их для возникновения района недостаточно, если они не создают экономической и социальной *организации*. Например,

"сельскохозяйственные районы, —

как отмечает Пьер Жорж, —

являются таковыми лишь благодаря агрономам и географам: они реальны лишь постольку их описывают извне".

Отметим, что сама существующая терминология создает непреодолимые препятствия для выяснения этого вопроса; с одной стороны, употребление слова "район" слишком широко, чтобы пытаться придать ему лишь самый узкий, строго научный смысл, употребляя другие выражения для определения "нерайонированного" пространства. С другой стороны, создание или использование другого слова для обозначения экономического района, района в точном смысле слова, лишь помешает людям приблизиться к пониманию сути явления. Таким образом, представляется разумным продолжать использовать одно и то же слово для наименования объектов, — участков пространства, — весьма различных по своему характеру.

с) Район организуется вокруг центра. Этот второй фактор существования района вытекает из первого. Можно даже сказать, что он является его частью, не только независимой, но даже господствующей. Не существует настоящего района без центра, ядра — то есть города, поскольку "районы живы центром" (Ж. Лабасс).

Организация, конкретное воплощение феномена районирования, нуждается в стержне, "полюсе", "узле", если хотите; основой этого стержня является форма обслуживания, и, естественно, его место в городе. Так город, используя известные общественные механизмы, руководит окружающим его пространством, опутывает его паутиной торговых, административных, социальных, демографических и политических связей.

Не придумывая, как того требует мода, новых привлекательных названий, но с глубоким пониманием смысла географических исследований, Видаль де ля Блаш писал более пятидесяти лет назад:

”Города и дороги — великие творцы единства: они образуют солидарность территорий”.

d) Район существует лишь как неотделимая часть более крупного единства. Таким образом, третий необходимый элемент дефиниции ”района” находится вне его, и характеризует его связи с внешним миром, его роль в национальном или международном сообществе, в мировой экономике. Будучи ограниченной территорией, район является частью обширного пространства; в этом смысле он подчинен, и эта подчиненность часто играет главную роль в его эволюции, поскольку он одновременно замкнут и открыт. Финансовое и политическое господство, то есть более высокие уровни руководства, нерегиональны.

”Поэтому районы везде лишь инструмент, орудие, ограниченный объект руководства”.

(П. Каррер)

То же в плане административном: район — промежуточный уровень между центральной властью и местными органами, та территория, на которой

осуществляются решения и для которой вырабатываются программы.

Проще говоря, нижеследующее определение обобщает приемлемые концепции, выработанные на основе конкретных примеров: район — конкретная территория с подвижными границами, в определенных естественных условиях, характеризующаяся следующими тремя главными особенностями: взаимосвязанность населения, организация вокруг центра, обладающего определенной независимостью, и, наконец, включенность в общую экономическую структуру.

Это результат сочетания активных и пассивных факторов колеблющейся интенсивности, внутренняя динамика которых лежит в основе и внутреннего равновесия района, и его взаимоотношений с внешним миром.

(Но сплоченность района зависит от динамизма его центра: это обнаруживается при сопоставлении двух из них:)

2. ЛИОН И ТУЛУЗА

Сравнение двух "районных столиц", Лиона и Тулузы, ясно показывает, каким образом поляризующее воздействие более или менее мощного центра может привести к созданию более или менее прочного экономического района.

Образование Лионского района, описанного Ж. Лабассом, лучший для Франции пример "поляризации"; Лион, безусловно, представляет со-

бой, как на то указывал Видадь де ля Блаш, законченный тип "районной метрополии". Весьма развитое "районирование" Центра и Юго-Востока Франции не слишком обязано географии и истории. В географическом плане нет ничего более разнородного: высокие горы соседствуют с глубокими долинами, болотистые равнины с плодородными, покрытые виноградниками холмы с лишенными растительности плато, а место слияния двух рек, где расположен город, с человеческой точки зрения, особых преимуществ не представляет. В историческом плане политическая обособленность в течение веков препятствовала расширению связей. Бургундия и Дофинэ давно объединились, а Лион развивался изолированно, как своеобразная городская республика.

На современном этапе

"не район обзавелся столицей, а город сплотил вокруг себя район".

(Ж. Лабасс)

Промышленность и банки не только послужили для этого инструментом, но оказались настоящим мозгом района. В то же время, начиная с XIX века, в Лионе развиваются кредитные предприятия, которые покроют район сетью централизованных агентств, и распронят всюду промышленные предприятия, контролируемые лионским капиталом. Упорные усилия привели к созданию радиальной торговой сети с центром в районной столице. Вскоре Лион стал "объединителем дея-

тельности обширного района", живущего им и дающего ему средства жить.

Не является ли Тулуза прямо противоположным примером? Как и Лион, она располагает и административными, и вспомогательными органами, и системой обслуживания, необходимыми для современной "столицы района". Но было бы крупной ошибкой полагать, что экономическая жизнь района здесь зарождается, концентрируется или организуется.

Правда, на этот раз — доказательство от противного — природные и исторические условия более благоприятны. Восточная Аквитания, опирающаяся на Центральный массив и Пиренеи, представляет собой сочетание наклонных плато, холмов, широких равнин, сливающихся с долиной Средней Гаронны, над которой господствует Тулуза — относительная однородность ландшафта благоприятствует "районированию", и нет нужды искать дополнительных связей.

Пространство, как таковое, во всяком случае его значительная часть, было единым в политическом и, если хотите, религиозном отношении, сопротивляясь тенденциям централизации. Этого оказалось недостаточно: провинция не порождает района.

Была провинция со своей столицей. Но она не выковала района. Если основываться на географической ориентировке экономической деятельности, как в случае Лиона, то мы не найдем естественных связей Тулузы с отдаленными промышленными предприятиями на периферии:

комплекс Лака, группа Кастр-Мазамет, заводы, связанные с "Металлургической компанией Имфи" в Альбе или Памье, полностью ускользают от влияния Тулузы, поскольку в Тулузе нет ни концентрации капитала, ни стремления вкладывать его в развитие района. Золотой век не оставил ничего, кроме красивых домов и богатств, нажитых на сельском хозяйстве, и Тулуза, превратившаяся в XX веке волею государства из аграрного центра в индустриальный, не обладает собственным финансовым могуществом. Этим частично объясняется ненадежность ее господства над экономическим районом, усиливающаяся к тому же однонаправленностью ее торговых связей: распределение, устанавливающее лишь самые слабые связи, превосходит концентрацию продукции. Влияние Тулузы определяется, в первую очередь, демографическими факторами, приведшими к миграции населения в город, административным господством, сетью коммерческого перераспределения: этого достаточно, чтобы превратить Тулузу в "метрополию района" в обычном смысле слова; но внутри данной зоны это не создает условий для "внутренней экспансии" и соответствующих *структур*. Городская поляризация недостаточна; район как таковой остается слабым.

(*"Géographie active de la région"*.
Chapitre 1, in:
La Géographie active, P.U.F. 1964)

Противоречия общества вписываются в карту его обитания. Уже в самом плане города можно обнаружить характер сформировавшей его социальной структуры, в становлении которой участвовали совместно и исторические события, и географические условия, и род занятий жителей, благодаря которому они процветают или прозябают, и плотность населения, и его разделенность на классы и группы.

Была замечена в связи с этим та особая роль, которую играет место, отведенное каждой популяцией для ее покойников — кладбище. Некрополь, город мертвых внутри или рядом с городом живых, его тень, его отражение, его двойник — "его истина", как говорил Гегель. Столь же примечательная тенденция западной урбанизации к размещению кладбищ вне сферы общественной и деловой жизни, в парках, в зонах отдыха, то есть в так называемых неслужебных пространствах.

Пьер Дефонтэн сопоставил жизнь английских и французских деревень в Канаде, основываясь на формах погребения. В английских деревнях, по преимуществу протестантских, церковь не занимает центрального и существенного места, дома располагаются в относительном удалении друг от друга, кладбище порой вовсе отсутствует, и семьи хоронят покойников на собственной территории. Напротив, во французских деревнях с католическим населением кладбище — один из существенных элементов поселения. Вокруг него и соседствующей с ним церковью

группируется деревня. И для недавно возникшего поселения

”крупной исторической датой является тот день, когда число могил на кладбище превосходит число живых обитателей деревни”.

”Заполненное кладбище — доказательство устойчивой жизни”.

Отношения между живыми и мертвыми, гармоничные на уровне деревни или маленького города, усложняются по мере разрастания города. Пьер Жорж пишет об этом так:

ГЕОГРАФИЯ СМЕРТИ

В городе смерть принимает двойственный вид безличности и множественности. Он обширен, некрополь, город мертвых, в каждом случае со своей собственной символикой, — отражение города живых. Парижские кладбища занимают территорию в 420 га, они принимают 23600 погребений ежегодно. Кроме того, пригороды имеют собственные кладбища, так что в Большом Париже ежегодно хоронят около 90000 покойников, — в среднем 250 в день.

Кладбища расположены на окраине города. Право на закрепленное место на кладбище, которого добились наиболее богатые люди в форме вечной собственности, придает кладбищам устойчивость при разрастании города. Можно обнаружить целые поколения кладбищ, погло-

щенных городом и почти бездействующих; их функциональность определяется истечением временных контрактов. Самые большие кладбища — это самые недавние и самые удаленные; в течение некоторого времени они играют роль границ города, образуя незастроенную и независимую зону, потом волна урбанизации перехлестывает их, окружая кварталами новостроек. Эволюцию такого типа можно наблюдать в парижском пригороде вокруг кладбища Баньё.

В настоящее время громадное лесное кладбище Стокгольма оказалось зажатым между собственно городом и его внешними кварталами или пригородами Сольна и Зундбиберг. Большое римское кладбище Кампо Верано, долгое время располагавшееся вне города, теперь захвачено новостройками, продолжением Виа Тибуртина и Виа Пренестина. Право быть похороненным на "внутреннем" кладбище становится привилегией для знаменитостей и для знатных родов, так что кладбища приобретают характер исторических мест, где все могилы отданы в аренду бессрочную или, по меньшей мере, на сто лет, и таким образом прочно связаны с памятью о великих покойниках (Пер-Лашез).

*(Précis de géographie urbaine.
P.U.F., 1969)*

Нужно сказать, что противоречия и конфликтные ситуации возникают не только в результате бурного развития территории, как в случае

урбанизации. В некоторых случаях экологическое равновесие, некоторые, казалось бы, стабильные среды обитания находятся под угрозой; таков случай эпидемических заболеваний. География болезней, обсуждаемая Макс. Сорром, входит в состав географии противоречий в той мере, в какой болезни характеризуют географическую среду. Ведь среда включает в себя всю ассоциацию растительных и животных организмов. Человек входит в нее во всех своих ипостасях, черпает в ней свои силы, спорит с другими членами ассоциации за жизненное пространство и защищается от них в случае нападения. Эта ассоциация, для случая эпидемических болезней, образует "патогенный комплекс", поскольку в ней фигурирует

"паразит, способный причинить вред человеческому организму (так называемые инфекционные, паразитические, вирусные заболевания)".

ГЕОГРАФИЯ БОЛЕЗНЕЙ

Идеи Пастера, осветив происхождение инфекционных болезней, указали на ту роль, которую они играют в борьбе за жизнь на земле. Видаль де ля Блаш указал путь к идее паразитических сообществ. Его внимание привлекали все работы, посвященные сонной болезни в Африке: урон, причиненный ею в те годы, был ужасным. Заражение происходило в местах скопления людей,

на берегах рек. Муха це-це, живущая в тугайных долинах, питаясь человеческой кровью, передавала людям инфекцию (трипаносому), чей жизненный цикл протекает во внутренностях мухи и в крови человека.

Паразитизм объединял таким образом человека, трипаносому, муху це-це и тугайную долину.

Обнаружив в ходе исследований географии всех заразных болезней аналогичную ситуацию, я пришел путем обобщений к понятию патогенного комплекса, и впервые изложил его в 1923 году на конгрессе в Кембридже.

География инфекционных болезней не может быть понята без описания этого основополагающего понятия, патогенного комплекса. Он представляет собой ассоциацию живых существ разного уровня организации, центром которой является человек, объединенный с паразитизмом, и формой жизнедеятельности которой является болезнь. Это частный случай паразитических комплексов. Каждый вид животных (или растений) является сам по себе центром группы комплексов. Иногда они обладают примечательным сходством с комплексами, в центре которых стоит человек, постольку — поскольку источники инфекции те же (плазмоды палюдизма, трипаномы африканских травоядных и т.д.). Они входят в человеческую ассоциацию — домашние животные обмениваются с человеком паразитами.

Ядром всех этих комплексов является ассоциация человеческого организма и паразита — ви-

руса, бактерии, грибка, глиста. Некоторые комплексы только этими двумя компонентами и ограничиваются, — жизненный цикл паразита осуществляется полностью или главным образом в нашем организме. Передача инфекции осуществляется от человека к человеку через воздух или через воду. Капельки воды в виде суспензии в насыщенной влагой атмосфере служат опорой и питательной средой бактериям. В более или менее отдаленном прошлом эти микробы могли вести независимое существование, прежде чем приспособились к жизни во внутренностях высших животных, в их тканях, в крови, в легких. Многие из этих паразитов в разных формах (спор или личинок) ведут независимую жизнь (...). К паре главных компонентов может добавиться третий член, носитель инфекции, паразитирующий последовательно — на разных стадиях своего развития, — на человеке и других животных, моллюсках, рыбах, млекопитающих...

*(L'homme sur la terre.
Traité de géographie humaine.
Hachette, 1961)*

Самая идея географии болезней подвергалась жестокой критике, — в частности, со стороны Альбера Деманжона. Болезнь — феномен физиологический, и даже если можно нарисовать его карту, он не становится из-за этого фактом географическим. Об этом же Пьер Жорж заметил:

”Составление карты заболеваний туберкулезом во Франции и в Париже — не задача географа. Она входит в состав географических исследований лишь когда заболеваемость сопоставлена, а в дальнейшем обоснованно увязана с жилищными условиями, питанием, уровнем доходов, потреблением алкоголя, условиями труда и происхождении населения, а также с санитарным состоянием”.

Значит, география болезней исследуется не в рамках географического, а в рамках социального пространства.

Это становится еще более очевидным при рассмотрении другого явления. Болезнь может быть обусловлена не только присутствием патогенного элемента во внешней по отношению к организму среде, но подготовлена и даже вызвана ослаблением самого организма, как в случае недостаточного питания, например. И рядом с географией инфекционных болезней вырисовывается география болезней от авитаминоза — география голода, первооткрывателем которой был Хосе де Кастро.

Запад, — заявляет он, — не ведает голода, — и это выражение нужно понимать во всех смыслах: он и не знает, что это такое, и отказывается его изучать. Но в этом игнорировании голода следует видеть некое, по Фрейду, ”подавление”, аналогичное тому, которое тяготеет над вопросами пола.

”Голод, —
писал Жозюэ де Кастро, —
стал чем-то постыдным, вроде пола”.

Его рассматривают как

”ощущения, чьи последствия не должны
выходить за рамки подсознания”.

И если значение сексуальности было признано, то голод еще ждет своего Фрейда. Вернее, в сути открытия Фрейда нужно найти обозначение для этих ”фундаментальных инстинктов”, поскольку повышенная сексуальность — на самом деле лишь наиболее заметная сторона того феномена, который следует назвать недостатком питания.

Именно этим подавлением следует объяснить тот факт, что, наряду с географией кулинарии, иногда доходящей до гастрономической эйфории перед лицом национальных кухонь, географию голода никто и не пытался изучать. В связи с этой проблемой географ должен был бы перефразировать афоризм Бриа-Саварена:

”Скажи мне, чего ты не ешь, и я скажу тебе, кто ты”.

ГЕОГРАФИЯ ГОЛОДА

Рассматривая страны с коэффициентом рождаемости, превосходящим 30, замечаем, что во всех случаях это тропические страны с геогра-

фическими условиями и экономикой, неспособными ни производить, ни потреблять протеины животного происхождения. Растительная пища — решающий фактор плодovitости населения этих стран. Сравнивая коэффициент рождаемости в этих странах с цифрами, характеризующими потребления протеина, а в особенности с процентами калорий, полученных из протеинов животного происхождения, заметим, что существует прямая зависимость между снижением рождаемости и ростом потребления этих протеинов. (См. таблицу).

Приведенные в таблице данные из Статистического Ежегодника ООН (1967 г.) со всей очевидностью подтверждают это правило, хотя, конечно, его нельзя назвать абсолютным, поскольку, как известно, на плодovitость и рождаемость, помимо характера питания, влияет множество других факторов.

Этот аспект наших работ, устанавливающий влияние режима питания на производство, был наиболее спорным и вызвал множество возражений. Со времени первой публикации в 1951 году данная книга подверглась разнообразной критике, главным образом с позиций классической науки о питании, всегда считавшей, что пища, богатая протеинами — необходимое условие расширенного воспроизводства.

Убедившись в большом значении этого вопроса в связи с теми последствиями, которые наша теория может иметь для практических аспектов демографической политики, мы продолжили ис-

Т а б л и ц а

Страна	Коэффици- ент рождае- мости	Количество потребляе- мых проте- инов (в граммах)	Калории, по- лучаемые из протеинов животного происхож- дения (в %%)
Сальвадор	48,4	58	14
Гватемала	47,3	62	8
Коста Рика	45,1	54	14
Иордания	37,0	59	7
Ливия	37,0	50	8
Суринам	35	47	10
Филиппины	34	50	9
Тайвань	34	65	13
Уганда	25	58	7
Индия	21	52	11
Австралия	19,3	92	44
Дания	18,4	95	45
США	18,4	92	38
Велико- британия	17,9	89	42
Франция	17,5	103	41
Швеция	15,8	82	40

следования проблемы в биологическом плане. Полученные результаты подтвердили опыты Слонакера. Действительно, полное отсутствие протеинов в пище приводит к стерильности, однако понижение их содержания во всех случаях приводило к ощутимому повышению плодовитости крыс. И как раз именно такое низкое содержание в пище некоторых необходимых питательных веществ, в особенности аминокислот, отмечается у плохо питающихся и плодовитых народов. Наблюдения множества исследователей совпадают с нашими результатами.

Самое драматическое из всех подтверждений решающего влияния режима питания на плодовитость можно найти в докладе профессора Мак-Джинити, из Калифорнийского Технологического института, опубликованные "Smithsonian Institution" (1955).

Исследования Мак-Джинити проводились в Морской Лаборатории Арктических Исследований Пойнт-Барроу. Они выявили весьма существенный факт: у эскимосов этого района, приобщившихся за последние годы к новому, смешанному режиму питания, содержавшему, в отличие от традиционной мясной, растительную пищу, коэффициент рождаемости вырос втрое.

Профессор Мак-Джинити утверждает, что эскимосские женщины, прежде зачинавшие с интервалом в несколько лет, теперь практически приносят в год по ребенку.

Вебстер Джонсон и Ралей Барлоу в 1954 году констатировали столь же примечательный факт:

между 1936 и 1947 годами половина прироста населения земного шара приходится на дальневосточные страны. Они писали по этому поводу следующее:

”Это факт ошеломляющий: в районах с самым значительным приростом населения на душу населения приходится всего лишь около 2000 калорий в день. Похоже, что человеческая плодовитость связана с недостатком питания”.

Эксперименты Тейтельбаума и Грантта в Павловской лаборатории университета Джона Гопкинса (США) тоже подтверждают нашу теорию. Эти эксперименты, проводившиеся на группах собак, показали, что в периоды недостаточного питания количество сперматозоидов в куб. мм их спермы ощутимо возрастало.

Все эти наблюдения приводят нас к выводу о том, что, согласно полученным данным, резкий рост численности вида из-за повышения плодовитости является одним из специфических симптомов голода, проявлением одного из самых странных феноменов мировой проблемы голода.

*(Géopolitique de la faim, nouvelle édition
revue et augmentée. Traduction Léon Bourdon.
Collection “Economie et Humanisme” –
Les Éditions ouvrières 1971)*

Выводы Хосе де Кастро, сделанные им на основании сравнительного анализа рождаемости и недостаточного питания, вызвали бурную реакцию. В частности, кажется недостаточным установить причинно-следственную связь между двумя фактами, чтобы считать, что, преодолев один, автоматически избавишься от другого. Если недостаток питания — одна из постоянно присутствующих черт стран Третьего мира, то нужно сказать, что она, во-первых, отмечается не только там, а, во-вторых, эти страны обладают другими, не менее постоянно присутствующими особенностями, которыми можно объяснить и недостаток питания. Ив Лакост приводит 14 определяющих черт стран Третьего мира.

ГЕОГРАФИЯ СЛАБОРАЗВИТОСТИ

Подавляющее большинство стран Третьего мира обладает следующими главными особенностями:

- 1) недостаточное питание населения;
- 2) природные богатства не используются или растрачиваются;
- 3) большое количество земледельцев и низкая производительность их труда;
- 4) отсталая и недостаточная индустриализация;
- 5) гипертрофия и паразитизм сферы обслуживания;
- 6) экономическая зависимость;

7) глубокое социальное неравенство населения;

8) распад традиционных структур;

9) широкое развитие частичной занятости и детского труда;

10) слабая национальная интеграция;

11) нищета населения;

12) быстрый демографический рост;

13) медленный рост реальных доходов;

14) пробуждение самосознания населения и быстро меняющаяся политическая ситуация.

Конечно, в каждой слаборазвитой стране можно найти другие факторы, которые делают картину еще более сложной. Но эти дополнительные факторы, отличающиеся лишь в какой-то части Третьего мира, а то и в одной-двух странах, не являются основными; это или второстепенные факторы, или местная модификация одного из основных. Из приведенных 14-ти особенностей 10 известны в истории многих народов и свойственны не только состоянию слаборазвитости. Эти черты, за исключением "демографического роста" и "пробуждения самосознания населения" были свойственны и другим, ныне пройденным этапам; одни из них очень древние (недостаток продуктов питания, нищета населения), другие привнесены колониализмом XVIII и XIX веков (гипертрофия сферы обслуживания, экономическая зависимость, разложение традиционных структур и т.д.).

Медленный рост доходов населения — частично очень давняя особенность, частично же — по-

следствие колониализма. Но к этим более или менее давним особенностям прибавились другие, очень существенные и совсем новые: демографический рост и пробуждение самосознания. Крайнее своеобразие той ситуации, которую мы называем слаборазвитостью, и заключается в сочетании быстрого демографического роста, феномена совершенно нового, с группой факторов, которые до сих пор препятствовали росту населения, то есть тех, совокупность которых мы называем колониализмом. Добавление к этим давним факторам одного нового — демографического роста — оказалось достаточным, чтобы существенным образом изменить их роль и породить совершенно новое, парадоксальное явление: слаборазвитость. Ситуация, действительно, парадоксальная, поскольку в отличие от других, давших нам ныне существующее положение, более или менее сложившихся и уравновешенных, в слаборазвитости заключено главное противоречие: к тем древним чертам, сочетание которых в конечном счете тормозило рост производства, что в обычной обстановке в течение веков сдерживало демографический рост, добавился вопреки им новый фактор: быстрый рост населения.

*(Géographie du sous-développement —
P.U.F. 1965)*

Ив Лакост объясняет явление слаборазвитости двойным торможением:

”Современный застой экономики слабых развитых стран объясняется не теми причинами, которые в прошлом определяли задержки экономического развития. Раньше главными причинами отсталости были причины технические. Сегодня — причины социальные. Слаборазвитость обусловлена в значительной мере проникновением капиталистической системы в сообщества, находящиеся в состоянии стагнации, в менее развитые социальные структуры”.

Но вторичное торможение, империалистическое, стало возможным лишь при наличии предшествующего, порожденного местными причинами; таким образом, империализм лишь следствие этой отсталости, и по сути существует лишь одна ее причина.

”Их развитие, —

пишет Ив Лакост об этих традиционных общественных структурах, —

остановилось несколько столетий назад; если бы этого не произошло, они бы никогда не были колонизированы”.

Некоторые марксисты тоже считают, что существует только одна причина отсталости в развитии, но она — с их точки зрения — является последствием, а не предшествием колониальных завоеваний.

Внимание географов переключается, таким образом, с равновесия на противоречия, среди ко-

торых слаборазвитость (наряду и в связи с урбанизацией) занимает центральное место. География становится в один ряд с экономикой, этнографией и другими науками, которые, связывая расположение определенных явлений в пространстве с изучением производственных отношений, вырабатывают концепции и строят приемлемые модели для разрешения насущных проблем. Тем самым география становится в один ряд с политической жизнью.

IV. ТЕХНОЛОГИЯ

Именно в рамках политической жизни технология, наука о развитии техники и технических знаний, познала — при всех спорах вокруг понятия "азиатский способ производства" — бурный рост; ее считают вершиной экономической географии, и в настоящее время внимание этой дисциплины сосредоточено с одной стороны на этнографии, а с другой — на экономике (эти две науки объединяются в экономической антропологии, которая интенсивно развивается).

Азиатский способ производства — термин, разработанный Марксом на базе имевшейся в его распоряжении информации о "незападных обществах" и который он использовал для определения той стадии общественного развития (или той общественной формации), которая следует за "первобытным коммунизмом" и является первой формой классового общества; за нею следует античный, потом рабовладельческий способ производства; вслед за ними германский, потом феодальный, и, наконец, капиталистический, перед наступлением коммунизма (можно ли сказать — окончательным?). Марксистская традиция использовала эту схему, но упростила ее, объединив первые стадии в общее широкое понятие феодализма, утратившего в результате этой операции все свои специфические черты, а другие формации растворились в нем самом, утратив собственную специфику.

Проблемы, с которыми столкнулся марксизм в незападных странах, безусловно не подходящих под категорию феодальных, в частности, в странах азиатских, вновь возродили этот термин, отброшенный в эпоху сталинского догматизма. Но теперь знания об этих странах были несравненно больше тех, которыми располагал Маркс при разработке своей концепции, и, чтобы возродить ее, нужно было привести ее в соответствие с огромной документацией, накопленной в течение века этнографическими исследованиями. Эта документация, основная особенность которой, разнообразие, с самого начала поднимала предсудительный вопрос об обоснованности теории, претендующей на универсальность, и стремящейся подвести под единую формулу все первобытные сообщества. Действительно, для марксизма главным спорным вопросом, двойного характера, является:

а) существование одного или множества путей перехода от бесклассового общества к классовому;

б) существование единой или множества форм развития последнего.

Однако для технологии особые последствия приобрел тот факт, что в определении социально-экономической формации стали придавать фундаментальное значение производительным силам, — прежде ими чаще всего пренебрегали в пользу чисто социологических представлений об общественных отношениях. Одриккур констатирует, что

”различные ‘истории труда’ и ‘истории трудящихся классов’ до сих пор сосредотачивали свое внимание главным образом на истории способов производства, пренебрегая историей производительных сил”;

Шарль Парэн, подводя итоги исследования истории водяной мельницы, подтверждает необходимость, перед лицом которой находится отныне история техники:

”Расширить горизонты своих исследований на историю производительных сил во взаимосвязи с эволюцией производственных отношений”.

Итак, поставленная перед географом задача — описание земли — становится и описанием производительных сил, сообразно которым различные общества используют природные богатства. Так что географический факт всегда является в известной мере фактом технологическим, — этим социальная среда вписывается в среду географическую. Одрикур стремится провести различие между технологами и географами на том основании, что

”последние стремятся объяснить приспособление человека к определенному рельефу и топографии, тогда как для нас, напротив, существенней его приспособление к другим факторам среды обитания (климату, почве и, в особенности, к растительному и животному миру)”.

Но достаточно ли существенно это различие, особенно если учесть значение понятия "среда", которым, по его мнению, должна заниматься только технология для экономико-географического анализа? Еще менее существенно то различие между ними, которое проводит Макс Дерию (объединяющий технологию и этнографию), когда он пишет, что этнография отличается от экономической географии,

"поскольку она изучает инструменты человеческого труда, тогда как география интересуется ими лишь в той мере, в какой они характеризуют воздействие человека на землю и его устройство на ней".

Различие между топографией и почвой, обособление последней и исключение из рассмотрения других факторов среды обитания (атмосферы, фауны, флоры) столь же произвольно в первом случае, сколь абстрактно во втором различие между инструментом и его воздействием.

Слияние географической среды и среды социальной осуществляется в том, что Леруа-Гуран назвал технической средой; она состоит из совокупности предметов, производимых сообществом, чтобы ими отделить себя от первозданной материи.

В соответствии с происхождением понятия среды, самый феномен техники рассматривается в этом случае с биологической точки зрения. Таково, во всяком случае, направление, предложенное Леруа-Гураном в последних строках работы "Среда и техника":

”Биология переживает свой переходный возраст, а технология едва нарождается, но можно предвидеть, что в будущем близость этих двух дисциплин будет проявляться все более ясно, и, противопоставляя созданное природой и порожденное производственной деятельностью, мы достигнем более глубоко понимания общих законов эволюции”.

Совокупность инструментов человеческого общества, то есть и навыков, и орудий, и инструментов в собственном смысле слова, образует техническую среду, организованную таким способом, что каждое приспособление выполняет в ней функцию, сравнимую с функцией органа живого тела, чье существование и использование неразделимо связано с существованием всех других органов. В таком случае система этих инструментов представляется как скелет общества, и это, по представлениям Андре Леруа-Гурана, отнюдь не в метафорическом смысле: технология буквально становится областью палеонтологии.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СРЕДА

Человечество ведет себя в природе как живой организм; подобно животному или растению, для которых естественные продукты питания не могут быть усвоены непосредственно, а требуют воздействия определенных органов для подготовки этого усвоения, так и человечество осваи-

вае свою среду через посредство оболочки из предметов (приспособлений или инструментов). Оно подчиняет себе дерево с помощью тесла, потребляет мясо, действуя стрелой, ножом, каструлей и ложкой. В этой промежуточной оболочке оно защищается, питается, отдыхает и перемещается. Но, в отличие от животных, обладающих строго зафиксированным запасом средств добычи и потребления, люди, более или менее нагие перед лицом природы, увеличивают эффективность своих когтей и своей шкуры, сознательно направленными действиями. Изучением этой искусственной оболочки занимается технология, законы ее развития зависят от технической экономики. Но как таковая техническая оболочка человека не содержит в себе ни импульсов, ни источников энергии, она лишь фиксирует созидательную тенденцию. В этом смысле этнография находится в том же положении, что и другие естественные науки; палеонтология изучает панцири, клювы, когти, зубы, изменяющиеся во времени, как будто они обладают собственной внутренней жизнью, собственной целью развития. Но источники, пружины этой жизни и этого развития в значительной мере ускользают от познания, и гипотезы множатся при истолкованиях одних и тех же фактов. Одни настаивают на преимущественном влиянии среды: существование двустворчатых моллюсков предопределяет сплюснутую форму клюва у некоторых видов птиц, которые ими питаются. Другие склоняются к ведущей роли мутаций в развитии вида, считая, что

сплюснутый клюв формируется для более удобного употребления двустворок. Результаты производственной деятельности и промышленные отходы показывают нам, сколь второстепенны материальные предметы, как свидетельства: на них построено все изучение человеческой деятельности, но они — лишь безжизненная основа, на которой запечатлены следы конфликта между человеком и материальной природой. Возможно, что это суждение о производстве можно распространить на всю совокупность технической деятельности (...).

Мы не можем претендовать на то, что способны сразу, вдруг выявить реальную основу нашей эволюции и записать черным по белому весь подспудный смысл жизни человеческих сообществ. Но в целом мы можем достигнуть достаточно полных представлений. Так же как и материя, и примитивные способы воздействия на нее материализуются в инструменте (орудии), заключающем в себе, таким образом, значительную долю предопределенности, так и вся техника в целом скрыто заключена во взаимодействии двух сред: внешней (для Леруа-Гурана это инертная естественная среда и внешняя социальная среда, то есть взаимоотношения с другими группами) и внутренней средой сообщества (которую можно рассматривать как "интеллектуальный багаж" человеческой массы в тот или иной момент ее истории).

*Milieu et techniques,
Evolution et techniques (II) VIII,
coll. "Sciences d'aujourd'hui", Albin Michel, 1945.*

Согласно бергсоновскому различию между *homo faber* and *homo sapiens*, — техника первоначально являлась не результатом мысленной операции, расчета, а биологическим феноменом: "техника лишь зоологический факт", и инструмент представляется нам "частью скелета" и

"можно задаться вопросом, не является ли техника прямым продолжением общей эволюции вида?"

Жорж Кангилем отмечает, что Леруа-Гуран

"ищет в прялке предшественницу, в биологическом смысле слова, паровоза",

намекая на следующие строки в работе "Человек и материя":

"Без прялки мы не имели бы паровоза. Достаточно добавить паровой котел, заменить рычагом человеческую руку, шатун уже содержится в педали, рукоятка расположена на прялке как на первых автомашинах, переключение передач уже имеется в шпуре".

Эту ассимиляцию техники и биологии Леви-Стросс подверг критике в связи с формулировкой, предложенной этнографом Тайлором:

"Лук и стрела образуют новый вид",
отметив, что

"топор еще никогда не порождал топора".

Впрочем, технологи сравнивают инструменты не со всем живым организмом, а лишь со скелетом. Отметивший этот факт Андрэ-Ж. Одрикур вынужден вновь обратиться к биологической модели в своем определении технологии.

ТЕХНОЛОГИЯ

Аналогию эволюции видов и развития техники можно использовать очень широко, не впадая в противоречие, если при этом не упускать из виду, что инструмент следует сравнивать лишь со скелетом позвоночных или со скорлупой раковины. Подобно тому, как палеонтолог пытается по ним восстановить мягкие части тела — мускулы и внутренности животного, также следует облечь инструмент во всю совокупность человеческих действий, которые его производят и им орудуют.

Классификация предметов, к которой стремится технолог, носит тот же характер, что и классификация биолога: это классификация генетического характера, призванная восстановить происхождение предмета и его реальные исторические связи; ее подстерегают те же опасности, связанные с возможностью скрещивания и параллельного развития. В биологии скрещивание связано с влиянием внешней среды и естественным отбором. То же и в технологии: роль внешней среды играют природная и социальная обстановка, а отбор осуществляется в виде выбора наиболее эффективной техники.

Например, необходимость передвижения в водной среде приводит к сходству формы рыб, ракообразных и тюленей, аналогично тому, как необходимость обработки земли приводит к сходству формы пахотных инструментов Европы и Китая, которые развивались от сохи с симметричным лемехом к плугу с ассиметричным лемехом. В последнем случае можно с уверенностью говорить о независимой параллельной эволюции, поскольку страны, разделявшие Европу и Китай, Индия и Центральная Азия, ассиметричного лемеха не знали. Напротив, в период существования непосредственных связей между Европой и Китаем, формовка, отливка металла в форму, была заимствована Европой, где дотоле использовалось лишь плоское литье и ковка металла. Здесь мы можем отметить важное различие между эволюцией живых существ и эволюцией инструментов: гибридизация у первых возможна лишь между близкими породами, тогда как гибридизация, или точнее, воздействие одного инструмента на другой может происходить, так сказать, в голове конструктора, вне зависимости от происхождения инструментов. Достаточно, чтобы они были известны в одной сфере интересов и в одной и той же социальной группе. Изобретение осуществляется легче мутации и чаще гибридизации. Это придало технической эволюции возможности такого ускорения, какого не знала эволюция биологическая. (...)

Эволюция инструмента объясняется постоянным приспособлением к различным нуждам и

различным способам производства. Что же касается происхождения того или иного новшества, то оно в том движении, которое инструмент призван усилить: движение руки для ручного инструмента, аналогичное движение (импульс) для инструментов и машин, приводимых в действие моторами. Таким образом, лом и лопата, которыми наносят удар вертикально; мотыга, которой бьют наискосок, не имеют ничего общего с сохой и плугом — последние волокут, как грабли. Впрочем, первые сохи Египта и Месопотамии использовались во время сева аналогично боронам и граблям. Лишь много позднее, во времена Плиния Старшего, эти инструменты стали использоваться для пахотных работ как мотыга и лопата.

*La technologie, science humaine,
La pensée, n°115, Juin 1964.*

Сам по себе инструмент — ничто, не более, чем часть скелета. Его мощность неотделима от источника энергии, от рабочей силы, которая приводит его в действие: от двигателя.

Первый двигатель — само человеческое тело. Марсель Мосс в своем сообщении "Технические аспекты человеческого тела" показал его роль в материальной цивилизации групп, являющихся в прямом смысле слова "объектом технологии".

("Мы называем 'технологией' исследования материальной активности народов, то

есть их способность охотиться, ловить рыбу, возделывать землю, питаться, устраивать свое жилище”.

А. Одрикур)

Материальная цивилизация состоит не столько из

”совокупности предметов, которые она производит и использует, сколько из совокупности традиционных мускульных действий, технологически эффективных”.

Всякое общество воспитанием, которое оно дает детям, прививает своим сочленам определенный набор действий, обеспечивающий им практические знания: их учат ходить, бегать, плавать, есть и т.д. и даже говорить, поскольку именно тренировкой мускулов рта и гортани достигается освоение языка. Здесь намечается многообещающее и перспективное слияние лингвистики и технологии.

Впрочем, лишь в редких случаях набор этих жестов ограничивается лишь телом (одновременно двигателем и инструментом), чаще всего оно продолжено (усилено) инструментом: и тогда двигатель и инструмент существуют отдельно, но это не меняет ни технической среды, ни процесса производства. Способ (или способы) производства, соответствующие использованию человеческого двигателя, позволяют характеризовать первобытные сообщества, в которых

”человеческая рабочая сила является главным, если не единственным доступным источником энергии”.

Сегодня это утверждение все большее число авторов определяет от тех обязательных выводов, которыми его по традиции сопровождал экономический эволюционизм: выводов об экономике ”борьбы за существование”. С таких позиций прежде, покуда этнографы не присмотрелись к этой проблеме, первобытные сообщества рассматривались как некая простейшая элементарная частица. Из таких частиц сомнительная социальная химия строила все сложные формы общества.

”Представление о первобытном обществе, вынужденном из-за слабого развития производительных сил почти полностью посвящать себя добыванию насущных средств существования и живущем в автаракии, ныне абсолютно устарело”.

(Морис Гodelье)

Экономическая деятельность всякого общества подразделяется на два сектора: производство средств существования и ”престижных вещей”, предметов роскоши, и эта двойная ориентация даже при самых примитивных способах производства (таких как собирательство) обеспечивает всякому обществу определенный прибавочный продукт, излишки. Существенное различие между первобытно-общинным строем и клас-

совым обществом заключается в том, что в первом социальная конкуренция касалась только предметов роскоши, и именно эта конкуренция выставлялась напоказ, хотя она и не касалась производственной деятельности как таковой; тогда как в классовом обществе и производственная деятельность, и сами средства существования являются объектом конкуренции внутри общества. На этом основании Морис Гodelье приходит к утверждению, что каждая экономическая система приводит к образованию прибавочного продукта, то есть не собственно излишков, не абсолютного прибавочного продукта, но того, что превосходит уровень существования члена общества, признанный социально-достаточным.

ПРОТИВ ЭКОНОМИКИ СРЕДСТВ СУЩЕСТВОВАНИЯ, ОБ УНИВЕРСАЛЬНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИЗЛИШКОВ

Конкуренция внутри группы начинается чаще всего вне сферы производства и присвоения средств существования; она никому не грозит утратой физического существования, а лишь социального статуса. Исключив из сферы конкуренции между сочленами проблемы доступа к средствам производства (земле) и к "хлебу насущному", первобытное общество гарантирует им существование, выживание и продолжение рода, и, в то же время, поддерживая конкуренцию вокруг редких благ, дающих доступ к женщинам и

власти, обеспечивает себе функционирование в качестве общества. В то же время из-за того, что эта конкуренция осуществляется или благодаря особым дарованиям или в форме выставляемого напоказ потребления, социальное неравенство проявляется в относительно узких рамках и даже вообще может быть поставлено под сомнение. (...)

Теоретический анализ развития социального неравенства и происхождения классов приводит нас к необходимости установить причины, из-за которых центр социальной конкуренции переместился из области наиболее ценных продуктов социальной деятельности в сторону перераспределения средств производства, хотя перераспределение предметов роскоши и продолжает играть некоторую роль. (...)

Прежде чем продолжить обсуждение этой проблемы, что приведет нас к рассмотрению азиатского способа производства, подчеркнем некоторые итоги (...).

1. Напрашивается вывод, что концепция экономики средств существования (или "борьбы за существование"),¹ часто используемая для характеристик экономики первобытного общества, должна быть отброшена, поскольку она лишь замазывает тот факт, что эта экономика не ограничивается производством средств существования, она производит также "излишки", предназначенные для функционирования социальных структур (родство, религия и т.д. и т.п.). Эта концепция маскирует также многочисленные

формы обмена, сопровождающие деятельность социальных структур. Экзогамия, войны формируют положительные или отрицательные связи между группами и сопровождающие эти связи обмен (циркуляцию) предметов роскоши, про которые можно сказать, что они играют роль примитивной монеты с ограниченным употреблением, сохраняя за собой и другие функции.¹ Первобытный человек "жив не хлебом единым" и он не обречен посвящать большую часть времени борьбе с природой за выживание. Недавние количественные исследования рабочего времени в племенах и сообществах, живущих и поныне охотой и собирательством, показали, что у них гораздо больше свободного времени, нежели в сельскохозяйственных общинах. Нужно также учесть, что развитие сельского хозяйства, а в последнее время и индустрии, отбросило племена охотников в окраинные и малогостеприимные земли, где условия охоты не соответствуют условиям, в которых жил охотник эпохи палеолита. Неолитическая революция сократила время социально необходимого труда, и это позволяет поставить под сомнение ту концепцию эволюционистов, согласно которой произошедший в неолите скачок в развитии техники, увеличив количество свободного времени, обусловил быстрое развитие общей культуры. И скачок в развитии техники, и быстрый рост культуры в неолите действительно произошли, однако их соотношение требует иного объяснения.

2. Существование излишков не влечет за собой автоматически повышение уровня производительных сил. Учитывая, что средства существования во многих первобытных сообществах являются объектом социальной конкуренции зачастую лишь опосредствованно, члены этих сообществ не нуждались в увеличении производства средств существования выше уровня, признанного социально необходимым. Существование первобытного общества лишь изредка требует использования максимума производственных факторов, что ограничивает развитие производственных сил (хотя производство предметов роскоши и культурных ценностей может успешно развиваться). Часто рост производительных сил позволяет расширить неэкономическую, непроизводственную деятельность. Например, у сианеев Новой Гвинеи замена каменных топоров железными на 40% сократило время, уделяемое мужчинами племени для добычи средств существования. Выигранное время первоначально использовалось для расширения традиционно высоко ценимых форм деятельности: войн, церемоний, путешествий.²

*Préface de "Sur les sociétés précapitalistes",
Textes choisis de Marx, Engels, Lénine,
Editions sociales, 1970.*

Примечания

¹ Отсутствие общепринятой монеты в первобытном обществе объясняется одновременно и отсутствием развитого товарного производства, и необходимостью контролировать доступ к женщинам и власти. Это приводило к необходимости выбирать действительно редкие и ценные предметы, чтобы их число соответствовало ограниченному числу женщин и "руководящих постов", отделить обмен этих предметов от обмена других благ и поставить его под контроль людей, представлявших интересы всего сообщества. Этот контроль был одновременно и атрибутом власти и символом общественного положения.

² Этот пример показывает, что первобытное общество, как подчеркивал Энгельс, сознательно осуществляло гораздо более полный контроль социальной жизни, нежели могут себе позволить сообщества, в которых развито рыночное производство и частная собственность.

Двигатель, отличный от человеческого организма, появился благодаря развитию животноводства. Этот двигатель — тягловый скот; с его использованием начался новый этап, достаточно важный, чтобы В. Гордон Чайлд написал по этому поводу:

”Запрягши скот, человек сделал самое важное открытие: он овладел двигательной силой, отличной от собственных мускулов”.

Это открытие последовало вскоре за использованием ветра, первого неорганического источника энергии, использованного человеком.

Первоначально ветер лишь надувал парус, то есть использовался для передвижения по воде. Но вскоре он породит и технику вентиляции, и последствия этого будут иметь громадное значение, поскольку

”обработка руды находится в прямой связи с использованием поддува в очаге”.

Высокая температура, достигаемая в печи с помощью поддува, то есть с использованием вентиляционной техники, открывала дорогу первым формам металлургии. Овладение этими внечеловеческими источниками энергии — силой животных и силой ветра — позволяет обозначить этапы неополитической революции, закончившейся на Среднем Востоке примерно в III тысячелетии до Р.Х. Ее начало, по мнению В. Гордона Чайлда, это

МЕДНЫЙ ВЕК

В разогретом состоянии медь столь же податлива, что и гончарная глина. Она даже может быть расплавлена, и в этом случае принимает форму сосуда, в который ее выливают. Остывая, она сохраняет эту форму, и становится твердой, как камень. ее можно заточить, как кремнь. **Она обладает таким** образом достоинствами, которых не было у тех материалов, которые применялись для изготовления орудий. Чтобы изготовить что-либо из меди, достаточно вылепить из глины нужную форму и влить в нее расплавленную медь. Отливку потом обрабатывают молотком. Медный топор или нож рубит или режет не лучше кремневых, но они прочнее, их можно много раз затачивать на бруске или молотком. Наконец, сломанный кремневый инструмент починить невозможно, тогда как медный всегда можно переплавить и изготовить новую вещь. Использование всех этих преимуществ предполагает целый ряд изобретений: доменная печь с циркулирующим воздухом для достижения температуры плавления (механический поддув появился лишь в 1500 г. до Р.Х. в Египте и в 1000 г. до Р.Х. в Европе), тигель для расплавленного металла, клещи, чтобы его приподнимать, и формы.

В Старом Свете самородная медь встречается редко: ее приходится извлекать из руд-окислов, карбонатов, силикатов и сульфидов, смешивая

их с древесным углем и разогревая. Руды не похожи на медь в чистом виде, но часто их яркие цвета побуждали первобытных людей отыскивать их и использовать как красители или как "волшебные" камни. В эпоху Сиапка III и в период Эль Обейд в Сирии уже были известны способы получения металла из руды, и его производство возрастало. Позднее народы Ближнего Востока научились выплавлять серебро, свинец и олово. Оставалось сделать четвертое открытие. Было замечено, что медь, сплавленная с сурьмой, со свинцом, с мышьяком, а еще лучше с оловом, легче обрабатывается, и изготовленные из этого сплава изделия прочнее. Так около 3000 до Р.Х. в Индии, в Месопотамии, в Малой Азии и в Греции была открыта бронза и ее преимущества. Знания, используемые в металлургии, сложнее тех, что применяются в земледелии и даже в гончарном производстве. Химические изменения, происходящие при выплавке металла, неожиданнее тех, что происходят при обработке глины. Получение из зеленоватого или голубоватого порошка и кристаллов твердой красной меди — подлинное превращение. Плавка и затвердевание — удивительные феномены. Работа металлурга труднее, требует большего внимания и большей точности, нежели работа гончара, ткача или корабела, и с самого своего зарождения для нее нужны были подлинныe специалисты.

В начале металлургия была искусством не меньше, чем техникой. Металлурги и рудокопы приобщались к тайнам, с помощью которых их

обучали ремеслу. Как охотничьим или ткацким приемам, так и металлургии, обучались на примере и на конкретном опыте. Но эти знания передавались не всем членам общины. Работа рудокопа, плавильщика, формовщика, кузнеца требует столько навыка и стараний, что не может осуществляться между охотой и уходом за скотом: ей нужно посвящать все свое время.

Из этого следует, что производство меди было первым ремеслом, которым каждая семья не занималась наряду с другими для удовлетворения собственных нужд. Специалисты поставляли свою продукцию всем остальным и получали взамен излишек продовольствия. Так кузнецы вслед за волхвами и кудесниками стали теми, кто непосредственно не участвовал в добыче пищи; их жизнь уже зависит в первую очередь не от земли, а от их умения и произведенной ими продукции.

Так что не приходится удивляться тому, что ремесленники в меньшей мере подчинялись социальному порядку, нежели рыбаки и землепашцы; они были даже более независимы, нежели кудесники и заклинатели, поскольку их положение основывается не на верованиях и предрассудках племени: они всегда могут найти покупателя своей продукции на стороне.

Бродячие умельцы кочевали из страны в страну; они носили с собой слитки меди и на месте изготавливали те предметы, в которых нуждались местные жители. Еще сегодня этот обычай можно наблюдать в Черной Африке; бродячие лудиль-

щики Европы — пережиток той же системы.

Но не нужно забывать, что если металлургия и стала первой международной наукой, она все еще оставалась лишь суммой технических знаний, погруженной в бездну магических ритуалов. Ассирийские тексты I тысячелетия до н.э. рассказывают, что эти ритуалы требовали жертвоприношений в виде человеческих эмбрионов и крови девственниц. Даже в наше время кузнецы в отсталых племенах окружают свое искусство магическими действиями.

Эта наука, обучение которой тесно связано с мистическим причастием, становилась из-за этого весьма консервативной. От ученика требовалось самое точное подражание всем действиям мастера. Чтобы сохранить это ремесло в тайне, его передавали лишь от отца к сыну, от мастера к подмастерью, и ремесленники стремились группироваться в кланы и корпорации, ревниво оберегая секреты своего искусства. Мы обнаруживаем здесь ту же структуру клана, основанного на родстве, что и отмеченная нами у дикарей.

Таким образом, применение орудий из металла привело к возникновению нового класса, не существовавшего у людей эпохи неолита. Одновременно исчезает и автаркия, столь характерная для этого периода; глава семьи соглашается пожертвовать своей независимостью, чтобы получить возможность купить у кузнеца металлические инструменты, которые сам он изготовить не может. Для этого потребуется производить больше, чем необходимо для самой семьи, чтобы об-

менивать излишки на продукцию специалистов, бесспорных хозяев руд, слитков и медных топов.

И сама деревня оставит вскоре натуральное хозяйство, к которому она была столь привязана. Полезные ископаемые редки, руды находят лишь в горах, в местах засушливых и отдаленных от селений; сырье почти всегда приходится вывозить, а это требует организации регулярного транспорта; торговля уже не ограничивается предметами роскоши, и община, оказавшись в зависимости от импорта, должна увеличивать производство продуктов питания и предметов первой необходимости, которые послужат товаром для обмена.

Но себестоимость металла высока, медь и в особенности олово редки, производство бронзы трудоемко и все эти металлы трудно перевозить. Поэтому, несмотря на все преимущества металлических инструментов, крестьяне не особенно стремились к производству такого количества излишков, которое привело бы, выражаясь языком экономики, к созданию повышенного спроса. Коренные изменения произошли лишь тогда, когда изделия из металла стали предметом первой необходимости, чему вскоре будут способствовать два фактора. В районах плодородных речных долин, в дельте Тигра и Ефрата, где даже простые камни — редкость, бронза оказывается не только прочнее, но и экономически выгоднее кремня или обсидана. Кроме того, оружие из меди надежнее кремневых ножей — оно не сло-

мается в бою, в рукопашной. Оружие наряду с украшениями — наиболее древние изделия из металла, обнаруженные в погребениях. Но лишь городская революция породила такой спрос на изделия из меди, который превратил медную металлургию в важную отрасль промышленности.

*De la préhistoire à l'histoire.
Gallimard, coll. Idées, 1961.*

Наряду с металлургией, открытие новых источников энергии имело целый ряд последствий; в частности, появление городов, переход от родового строя к классовому обществу, то есть от доисторического периода к истории, той истории, которую Карл Маркс назвал историей классовой борьбы. И Шарль Парэн вправе утверждать, что

”развитие производительных сил, создав возможность производства прибавочного продукта, привело к переходу от бесклассового общества к классовому”.

Вода также является важным естественным и неорганическим источником энергии. Но самая распространенная форма его использования — водяная мельница — появилась так поздно, что это удивляет многих историков. В действительности же, это удобный случай констатировать стабильность и консерватизм того набора орудий, которыми пользуется общество: возможности изобретения или даже его осуществления недостаточно для его использования, оно возможно

лишь в определенной обстановке, от самого изобретения не зависящей. Такова судьба водяной мельницы. Марк Блох назвал ее

”изобретением античной эпохи, оказавшимся средневековым по времени его подлинного распространения”.

Причины, по которым Рим не использовал или использовал очень незначительную изобретенную в его пору машину, Блох считает социальными: избыток рабов покрывал энергетические потребности и делал бесполезной всякую попытку усовершенствования способов производства. Не умаляя значения этой причины, укажем и на другие, среди которых две были решающими. Во-первых, не были известны системы передачи механической энергии (зубчатые колеса и т.п.), позволяющие использовать водяную мельницу на полную мощность. Во-вторых, те сферы, которые и привели к широкому применению водяной мельницы (раздувание мехов в кузницах и помол зерна), ни в коей мере не соответствовали насущным потребностям античной эпохи. По мнению Шарля Парэна, мельница не стала ”античным изобретением”, поскольку

”изобрести мало: водяная мельница — результат и последствие целой серии изобретений, и в такой мере, что само это понятие — изобретение — на современном этапе исследований не следует использовать

упрощенно, для построения блестящих, но хрупких исторических конструкций”.

ВОДЯНАЯ МЕЛЬНИЦА

(Отсутствие применения водяной мельницы в античную эпоху) обычно объясняется прирожденным безразличием рабовладельческого способа производства к техническому прогрессу. Однако это объяснение опровергается уже одним тем фактом, что в период подъема и расцвета рабовладельческого строя было сделано множество изобретений; другой факт, также многократно подтвержденный, касается того, что эти изобретения широко и быстро внедрялись в практические сферы деятельности, такие, как архитектура и кораблестроение. По этой причине трудно удовлетвориться даже дополнительными объяснениями: дескать, избыток дешевой рабочей силы ослаблял интерес к использованию машин.

При таких обстоятельствах какие другие объяснения должны быть рассмотрены и, возможно, приняты? Р.Ж. Форб со всей обстоятельностью изложил социальные и экономические условия развития техники в Римской империи, однако и он не пошел много дальше тех общих соображений, которые применимы к иным, позднейшим способам производства. Он подчеркивал, что античности нехватало мощных стимулов для развития промышленности, и этот вывод может иметь далеко идущие последствия. Римское

общество, особенно в эпоху империи, состояло из небольшой группы привилегированных, использовавших значительные богатства главным образом для удовлетворения своего пристрастия к роскоши; этой группе была противопоставлена основанная масса населения, жившая в бедности, если не в нищете. Для удовлетворения своих насущных потребностей эти люди были вынуждены довольствоваться продукцией домашнего производства. Действительно, многие изобретения античной эпохи были продиктованы стремлением к еще большему комфорту или к еще более изысканной роскоши для разжигания appetitов немногочисленной группы привилегированных; отсюда применение в архитектуре новых материалов и усовершенствований, в частности, центральное отопление, отсюда и улучшение транспорта, наземного и морского: на него опирались и общественная система, и имперская структура государства. Но обе они обладали еще одним общим, более глубоким основанием.

Необходимо внимательно присмотреться ко всем исследованиям, собрать воедино все причины и следствия, толкающие в одном направлении не только развитие социальных условий, но и развитие производительных сил, в частности, техники, в их взаимосвязи с географической обстановкой центра Римской империи.

Одним из самых важных и самых ранних способов промышленного применения водяной мельницы в Средние века была обработка железа, кузнечное дело. В античную эпоху этот ме-

талл занимал незначительное место в производстве средств потребления; гончарное дело, напротив, процветало, что и сейчас можно заметить в странах с неразвитой промышленностью. Производство сосудов самой разной формы и назначения, вплоть до котлов, хоть и кустарным, а порой и просто домашним способом, было широко распространено. Даже дерево, хотя оно и использовалось для изготовления инструментов, в частности, сельскохозяйственных, в строительстве применялось мало, гораздо реже камня; лишь в Средние века развилось плотницкое дело, приведшее к изобретению пилорамы, работающей на водяном двигателе.

Главное же в том, что питание народных масс существенно отличалось от того, которое возобладавало в конце раннего средневековья. Супы простого и быстрого приготовления были основной пищей. Ясно, что большим массам рабов не давали тех продуктов, которые требуют значительных затрат труда, например, хлеба. Даже широкие слои свободного населения питались чаще всего зерновыми продуктами, не требующими помола, — ячменем, просом или пшеном, до сих пор широко распространенными в Бретани, Аквитании, в Северной Италии и в Кампаньи. Эти зерновые обрабатываются с помощью ступы и песта. Латинское слово *pistor*, булочник, происходит от глагола *pinso*, что означает дробить, толочь, а не молоть.

Бедуины Сирийской пустыни всегда используют ручную ступку, да еще самую примитивную,

выдолбленную в стволе тамариска, а пестом служит просто кол от палатки. До недавнего времени на юге Италии можно было найти места, где еще пользовались пестом, чтобы толочь farro.

Впрочем, и пест за время своего процветания, хотя и продолжавшегося недолго, был усовершенствован. В Польше (если говорить только о европейских странах), где им долго пользовались для изготовления муки, начиная с XVIII века применялся механический пест, приводимый в действие водой или ветром с помощью кулачкового механизма. В этом случае упорство в использовании песта — отнюдь не признак сигнации. Не следует забывать, что при характеристике развития производительных сил слишком общие представления могут быть на редкость обманчивы. Каждый раз необходимо уточнить, до какого уровня эпоха или нация были способны довести возможности того или иного инструмента.

Так каковы же те глубокие причины, которые привели к быстрому распространению водяной мельницы начиная с X века?

В первую очередь, это расширение площади посевов пшеницы и уменьшение роли других зерновых. В документах начала IX века сообщается, что в королевстве Аннар, между Фландрией и Артуа, было собрано 3718 бочек зерновых, из которых только 100 бочек пшеницы, для помола которой использовались жернова, остальное — 1000 бочек овса, 1800 — ячменя, 98 — ржи и 1320 бочек полбы. Полба — зерновая культура, распространившаяся в поздней империи благода-

ря ряду преимуществ: продуктивная и неприхотливая, она дает более устойчивые урожаи, нежели другие злаки. Однако успех полбы был сравнительно коротким — в последние столетия Средневековья ее посевы сокращаются и в нашем веке она сохранилась лишь в Швабии, Швейцарии и кое-где в Бельгии и Испании. Эта история служит хорошим примером того, какие этапы проходит обычно производство той или иной продукции: первоначально стремятся к увеличению количества, а затем, добившись успеха, больше внимания обращают на улучшение качества.

Переход к пшеничному хлебу означает одновременно и прогресс сельского хозяйства, и рост жизненного уровня. Он же послужил одной из причин распространения водяной мельницы.

*Rapports de production et développement
des forces productives:
l'exemple du moulin à eau,
La pensée, n° 119, février 1965.*

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сартр заметил как-то, что ученые хотели бы видеть мир таким, будто на него никто не смотрит. Это замечание прекрасно характеризует еще совсем недавний период, когда география была наукой описательной, "чистой", которую Видаль де ла Блаш определил как исследование местности, а не людей, и которую в известном смысле можно было противопоставить экономической, "человеческой" географии. Период географов-мизантропов и географии, являвшейся, так сказать, академической разновидностью туризма.

Однако эпитет "человеческая" к географии применим неспроста, земля никогда не была просто объектом описания. Прежде чем начать описывать ее на бумаге, человек на самой земле запечатлел знаки своего присутствия, и не как турист, а как путешественник, каковыми и являлись первые географы, проложившие на ней свои тропы, и даже скорее как пахарь, проводящий по ней свои борозды. Нет девственной земли, она уже подверглась насилию, она клеймена.

Связывать происхождение плуга с фаллическим культом, как это без колебаний делал некий Эдуард Хан, видевший в лемехе, влекомом волон, метафорическое воплощение сексуальной

силы, отнятой у животного кастрацией; оно должно обеспечить земле плодородие, проникнув в нее плугом и осеменив ее — совершенно не обязательно. Тем не менее, Пандора и Прометей, плодородие и труд, образуют неразделимое единство, и не только в мифологическом плане. Так и экономическая ("человеческая") география состоит из неразлучной пары: географии и технологии.

ПОСЛЕСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА

Ценность предлагаемых читателю глав заключается, в первую очередь, в том, что, вне зависимости от позиций авторов, большинство отрывков провокативно по своему характеру, "будит мысль", вызывает либо острый интерес, либо желание спорить, либо резкое несогласие. В некоторых отрывках содержится фактический материал, ознакомиться с которым полезно и специалисту, и неспециалисту, а статьи обобщающего характера, если и не охватывают всей суммы современных идей, что вообще вряд ли возможно, ценны даже в тех случаях, если вызывают возражения.

Первый из постулатов, возбуждающий серьезные сомнения, это определение географии как науки сугубо описательной. Действительно, такое к ней отношение, и не только со стороны профанов, породило кризис в начале XX века, когда с открытием полюсов завершилось формальное описание земной поверхности и начался распад географии на отдельные узко специализированные науки, первая из которых — экономическая география. (Во французской терминологии она именуется "человеческой", чем обусловлены трудности перевода некоторых выражений.)

Новое слияние, синтез, возник в момент осознания опасности хозяйственной деятельности, в первую очередь, индустриализации и урбаниза-

ции, для самого существования человечества на "земле людей", что и привело к появлению экологии, науки не статичной, а прогнозирующей и прикладной.

Однако кризис этот был скорее надуманным. До появления его признаков, когда слово "географ" еще было синонимом слова "натуралист", географические исследования включали в себя и изучение флоры и фауны, и изучение геологического строения, и были, таким образом, тесно связаны с категорией времени. Уже одно это приводит нас к иному определению географии, науки о движении материи в определенной сфере (в верхних слоях литосферы, гидросфере и атмосфере). К ней более подходит термин "географическая оболочка", нежели термин "среда".

Если "динамичная" география, экология, и родилась на наших глазах, то наукой динамической, наукой о развитии определенного процесса (в котором антропогенный фактор со временем приобретает все большее значение) география была и прежде. Если формализация знаний об этом процессе в виде картографии и началась с Варениуса, то не с него сам процесс начался. Все "гео-логические" процессы прошлого наблюдаются и теперь, и почти все современные процессы известны в прошлом.

Отвергая как будто описательную географию, составители сборника мыслят в ее категориях и признают динамическую сущность лишь за "средой" (а не за оболочкой).

В результате оказался обойденным вниманием такой мощный географический фактор как оледенения, существенно повлиявший и на формирование человеческого вида и на эволюцию человеческих сообществ. (Можно даже высказать предположение, что совпадение скорости климатических изменений в плейстоцене со скоростью эволюции высших млекопитающих и привело к образованию вида *homo*, и на ранних стадиях предопределяло развитие его культуры.)

Менее существенным, скорее вычитывающимся недостатком является преувеличение роли биостази, сквозящее в таких отрывках как "Лес" и "Образование почвы". В этом можно видеть некоторую абсолютизацию представлений, сложившихся при изучении природных условий Западной Европы. В СССР, благодаря детальному изучению склоновых процессов, этот феномен рассматривается скорее как предопределяемый тектоническими факторами.

Возможны ли точные или более или менее точные оценки географического процесса в целом? Очевидно, да. Один из возможных критериев — энергетический. Отсюда и роль геотермики, астробиофизики, геохимии, в частности, геохимии ландшафта, и тех методов исследований и обобщений, которые разрабатывались Вернадским, Чижевским, Тейаром де Шарденом, а в наши дни продолжены, в частности, Л. Гумилевым.

К сожалению, для упоминания об этих направлениях в сборнике не нашлось места.

Зато отрывки, посвященные конкретным проблемам, географии света, географии голода,* болезней,** кладбищам, экономическому районированию представляют безоговорочный и совсем неакадемический интерес. Тем, кто знаком с варварской урбанизацией "от Варшавы до Сталинграда" и далее на восток, с господством абсолютного географического (и не только географического) волюнтаризма, с экономикой, занимающей срединное положение между индустриальными и слаборазвитыми странами, углубление представления о самостоятельности географического процесса чрезвычайно полезно.

Особо следует остановиться на главе "Технология". Возможно, что философские потуги науки, особенно соблазнительные на стыке двух дисциплин, и неизбежны, и порой продуктивны. Тем не менее, наука — это, в первую очередь, метод, методика, и забывать об этом не следует. А именно методика при спекулятивных обобщениях чаще всего сомнительна.

Глава "Технология" являет собой пример пагубного влияния заранее выбранной концепции

* С биологической и этологической точек зрения описанный в этой главе феномен легко объясним инстинктом самосохранения вида (или популяции), толкающим к расширенному воспроизводству при возникновении голода, то есть угрозы существованию.

** В СССР понятие патогенного комплекса разрабатывалось в связи с распространением за последние 50 лет клещевого энцефалита, от Хабаровского края дошедшего до центральных районов.

на методы обобщений и, таким образом, на получаемые результаты. Выше уже говорилось, что, видимо, отчасти из-за этого ряд направлений в естественно-научных и этнографических исследованиях оказался обойденным. Здесь уместно сказать, что мода может быть не менее пагубной для науки, нежели прямой диктат. Так, в советских работах, посвященных доисторической эпохе, при декларативности введений и категоричности заключений, можно встретить больше уважения к реальности прошлого, нежели в ряде предлагаемых статей. В наименьшей мере недостаток такого уважения свойственен статье "Против экономики средств существования", а в наибольшей — статье "Медный век", являющей собой достаточно произвольное перенесение современных представлений о современных законах общественного развития в доисторическую эпоху. Так, эволюция ремесел (в том числе и медной металлургии) могла происходить совершенно иначе, не быть связанной с ростом городов и даже быть вполне маргинальной, побочной по отношению к этому процессу, как бродячие кузнецы (цыгане) XVI-XVIII веков были вполне маргинальны по отношению к росту буржуазии. (Кстати, бродячие лудильщики XX века наследуют скорее именно эту, а не более древнюю традицию.)

Азиатский способ производства — отнюдь не единственный пробел в марксистской теории общественных формаций. Цивилизации доколумбовой Америки (по меньшей мере, два крупных

государства, инков и ацтеков, с территорией, примерно равной Западной Европе) являют собой еще один, на этот раз американский способ. Исчезнувшие цивилизации Южной Сахары... Да что Африка! Уже Византия так упорно отказывается быть втиснутой в универсальную схему, пусть даже усложненную, что приходится говорить еще об одном способе. Существование феодализма в России продолжает оспариваться многими историками, и так далее.

Короче говоря, европоцентризм (и марксизм, как одна из его разновидностей), детище европейской "цивилизации перекрестка", возникшей на границе арабского и славянского миров, склонен к абсолютизации пограничных процессов, взаимодействия частей, антагонистических противоречий, будь то океаны и континенты, мир минеральный и мир органический, хищники и травоядные, феодалы и крепостные, буржуа и пролетарии, несколько пренебрегая и внутренними процессами в этих частях, и их целокупностью, взаимной обусловленностью и взаимной необходимостью в рамках земной коры, почвы, биосферы, общества или нации.

На примере обеих глав — "География" и "Технология" — можно заметить и то, что марксистский метод диалектического и исторического материализма далеко не исчерпал своих возможностей, и то, что с научной точки зрения этот метод обнаруживает все возрастающее количество недостатков, в том числе и фундаментальных.

Михаил Розанов

CHALIDZE PUBLICATIONS

Проблемы Восточный Европы. Журнал под ред. <i>Ф. и Л. Силницких</i> . Выпуски 1 и 2	9.00
выпуск 3-4	15.00
<i>В. Чалидзе</i> . Иностранец в Советском Союзе: юридическая памятка.	6.00
<i>Ф. Яноух</i> . Китай далекий и близкий.	7.00
Законодательство о религиозных культах в СССР.	9.00
<i>А. Зимин</i> . Социализм и неосталинизм.	9.00
<i>П. Кушников</i> . Армейский дневник 1917 года.	10.00
<i>П. Гарви</i> . Профессиональные союзы в России.	7.50
<i>З. Авалов</i> . Присоединение Грузии к России.	15.00
<i>З. Авалов</i> . Независимость Грузии в международной политике 1918-1921 гг.	15.00
<i>Ю. Фельштинский</i> . История ленинской провокации. (Убийство Мирбаха).	10.00
Цыганско-русский словарь.	25.00

Книги других издательств

<i>Л. Троцкий</i> . Моя жизнь.	20.00
<i>Л. Троцкий</i> . История русской революции.	30.00
Бюллетень оппозиции. Под ред. <i>Л. Троцкого</i> . 4 тома.	120.00

Добавьте 50 с запересылку каждой книги

CHALIDZE PUBLICATIONS

<i>П. Миллюков. Воспоминания государственного деятеля. 400 стр.</i>	15.00
<i>Мильтон Фридман. Капитализм и свобода.</i>	15.00
<i>З. Фрейд. Толкование сновидений.</i>	15.00
<i>Ф. Ницше. Так говорил Заратустра.</i>	15.00
<i>Б. Рассел. История западной философии.</i>	30.00
<i>С. Киркегор. Наслаждение и долг.</i>	15.00
<i>С. Киркегор. Страх и трепет.</i>	6.00
<i>Панорама современных идей. Перевод с французского под ред. Е. Еткинда.</i>	15.00
<i>Сергей Булгаков. Философия хозяйства.</i>	15.00
<i>Коран. Пер. Крачковского.</i>	20.00
<i>Г. Федотов. Россия и свобода.</i>	15.00
<i>О.И. Мейендорф. Православие в современном мире</i>	12.00
<i>И. Яхот. Подавление философии в СССР (20-30 гг.).</i>	15.00
<i>Б. Вышеславцев. Кризис индустриальной культуры.</i>	15.00
<i>С. Трубецкой. Энциклопедия права.</i>	15.00
<i>Солженицын в Гарварде. Пер. с англ.</i>	15.00
<i>Панорама гуманитарных знаний. Перевод с франц. под ред. Е. Еткинда</i>	15.00

Добавьте 50 с за пересылку каждой книги